

НОВИЙ  
МИР

12

---

1937

**Н О В Ы Й**

**М И Р**

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ

**Ж У Р Н А Л**

**К Н И Г А**

**Д В Е Н А Д Ц А Т А Я**

**Д Е К А Б Р Ь**

---

**М О С К В А**

**1 . 9 . 3 . 7**

Статформат В/Б 176 × 250.

Уполи. Главлита Б—80170. Об'ем 18 печ. лист. по 64.000 знак. Техн. ред. О. Гуревич.

Одано в набор 15/XI—37 г. Подписано к печати 2/XII—37 г. Тир. 70.000 Зак. 2662.

Тип. им. тов. И. И. Ожворцова-Степанова «Известия ЦИК СССР и ВЦИК», Москва.

# СО Д Е Р Ж А Н И Е

ВКЛАДКИ — портреты: И. В. Сталина, В. М. Молотова, Л. М. Кагановича,  
К. Е. Ворошилова, М. И. Калинина, А. А. Андреева, А. И. Микояна,  
В. Я. Чубаря, С. В. Коснора, А. А. Жданова, Н. И. Ежова, **С. М. Кирова.**

	Стр.
ВЫБОРЫ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР . . . . .	5
ВЛАДИМИР ЛУГОВСКОЙ. — Привет вождю, <i>стихотворение</i> . . . . .	15
МИХ. ШОЛОХОВ. — Тихий Дон, <i>роман</i> , продолжение. . . . .	17
ДЖАМБУЛ. — Страна выбирает Верховный Совет, <i>стихотворение</i> . . . . .	52
ВСЕВОЛОД ИВАНОВ. — Друзья, <i>рассказ</i> . . . . .	54
В. ЗВЯГИНЦЕВА. — Ты выберешь лучшего друга страны, <i>стихотворение</i> . . . . .	61
Н. НЕЗЛОБИН. — Стихотворения. . . . .	62
В. ЖУРАВЛЕВ. — Слово моей матери, <i>стихотворение</i> . . . . .	64
С. ДИКОВСКИЙ. — Случай в селе Грушевке, <i>рассказ</i> . . . . .	65
МИХ. РУДЕРМАН. — Счастье, <i>стихотворение</i> . . . . .	75
ПАВЕЛ НИЛИН. — Профессор Бурденко, <i>рассказ</i> . . . . .	76
Л. НИКУЛИН. — Дружба, <i>повесть</i> . . . . .	99
ШОТА РУСТАВЕЛИ. — Витязь в тигровой шкуре. ( <i>Отрывки из поэмы</i> ). Перев. Н. Заболоцкого, иллюстр. с карт. худ. С. Кабуладзе. . . . .	141
ФЕДОР ГЛАДКОВ. — Энергия, <i>роман</i> , продолжение. . . . .	154
—	
ПЛАМЕННЫЙ ТРИБУН РЕВОЛЮЦИИ.—Памяти С. М. Кирова. . . . .	182
КАК МНЕ ГОРЕ МОЕ ВЫПЛАКАТЬ? —Перевод с мордовского. . . . .	183
—	
В. ГАВРИЛОВ. — Алексей Стаханов. . . . .	187
ТАТЬЯНА ШАПОВАЛОВА. — Я — дочь трудового народа. . . . .	193
Акад. И. М. ГУБКИН. — Моим избирателям. . . . .	197
И. ЭКСЛЕР. — Владимир Коккинаки. . . . .	209
А. ЭРЛИХ. — Посланцы советской литературы. . . . .	215
Б. ЛАПИН, Э. ХАЦРЕВИН. — Поездка в Карабах и Курдистан. . . . .	226
Л. МОРЕВ. — «Губерниальный староста». . . . .	235
—	
К. АЛТАЙСКИЙ. — Сталинская Конституция в песнях народов СССР. . . . .	239
Д. ДАНДУРОВ. — Руставели и современность. . . . .	245
КОНСТАНТИН ЧИЧИНАДЗЕ. — Шота Руставели и его поэма. . . . .	254
Е. ПАМФИЛОВА. — Сатира Некрасова . . . . .	263
ИВАН ЕВДОКИМОВ. — В музее А. М. Горького. . . . .	273
К. ГРИШИН. — Три книги о социалистической родине. . . . .	278
<b>СУЛЕЙМАН ИЗ АУЛА АШАГА-СТАЛЬ</b> . . . . .	283

# Тихий Дон

Роман

МИХ. ШОЛОХОВ

(Продолжение <sup>1</sup>)

## ГЛАВА XIV

На другой день вернулись с поля косари. Пантелей Прокофьевич решил с обеда начинать возку сена. Дуняшка погнала к Дону быков, а Ильинична и Наталья проворно накрыли на стол.

Дарья пришла к столу последняя, села с краю. Ильинична поставила перед ней небольшую миску со щами, положила ложку и ломоть хлеба, остальным, как всегда, налила в большую общую миску.

Пантелей Прокофьевич удивленно взглянул на жену, спросил, указывая глазами на дарьину миску:

— Это что такое? Почему это ей отдельно влила? Она, что, не нашей веры стала?

— И чего тебе надо? Ешь!

Старик насмешливо поглядел на Дарью, улыбнулся:

— Ага, понимаю! С той поры, как ей медаль дали, она из общей посуды не желает жрать. Тебе что, Дашка, аль гребостно с нами из одной чашки хлебать?

— Не гребостно, а нельзя, — хрипло ответила Дарья.

— Через чего же это?

— Глотка болит.

— Ну, и что?

— Ходила в станицу, и фершал сказал, чтобы ела из отдельной посуды.

— У меня глотка болела, так я не отделялся, и, слава богу, моя болячка на других не перекинулась. Что же это у тебя за простуда такая?

Дарья побледнела, вытерла ладонью губы и положила ложку. Возмущенная расспросами старика, Ильинична прикрикнула на него:

— Чего ты привязался к бабе? И за столом от тебя нету покоя! Прилипнет, как орепей, и отцепы от него нету!

— Да мне-то что? — раздраженно буркнул Пантелей Прокофьевич, — по мне, вы хоть через край хлебайте.

С досады он опрокинул в рот полную ложку горячих щей, обжегся и, выплюнув на бороду щип, заорал дурным голосом:

— Подать не умеете, распроклятые! Кто такие щип, прямо с пылу, подает?!

— Поменьше бы за столом гутарил, оно бы и не пекся, — утешила Ильинична.

Дуняшка чуть не пыркнула, глядя, как побагровевший отец выбирает из бороды капусту и кусочки картофеля, но лица остальных были настолько серьезны, что и она сдержалась, и взгляд от отца отвела, боясь некстати рассмеяться.

После обеда за сеном поехали на двух арбах старик и обе снохи. Пантелей Прокофьевич длинным навильником подавал на арбы, а Наталья принимала

<sup>1</sup> См. «Новый мир», кн. 11 с. г.

вороха пахнувшего гнильцой сена, утапывала его. С поля она возвращалась вдвоем с Дарьей. Пантелей Прокофьевич на старых шаговитых быках уехал далеко вперед.

За курганом садилось солнце. Горький полынный запах выкошенной степи к вечеру усилился, но стал мягче, желанней, утратив полдневную удушливую остроту. Жара спала. Быки шли охотно, и взбитая копытами пресная пыль на летнике подымалась и оседала на кустах придорожного татарника. Верхушки татарника с распутившимися малиновыми макушками пламенно сияли. Над ними кружились шмели. К далекому степному пруду, переключаясь, летели чибисы.

Дарья лежала на покачивающемся возу вниз лицом, опираясь на локти, изредка взглядывая на Наталью. Та, о чем-то задумавшись, смотрела на закат; на спокойном, чистом лице ее бродили медно-красные отблески. «Вот Наташка счастливая, у нее и муж, и дети, ничего ей не надо, в семье ее любят, а я—конченный человек. Издохну — никто и ох не скажет» — думала Дарья, и у нее вдруг шевельнулось желание как-нибудь огорчить Наталью, причинить и ей боль. Почему только она, Дарья, должна биться в припадках отчаяния, беспрестанно думать о своей пропащей жизни и так жестоко страдать? Она еще раз бегло взглянула на Наталью, сказала, стараясь придать голосу задушевность:

— Хочу, Наталья, повиниться перед тобою...

Наталья отозвалась не сразу. Она вспомнила, глядя на закат, как когда-то давно, когда она была еще невестой Григория, приезжал он ее проведать и она вышла проводить его за ворота, и тогда так же горел закат, малиновое зарево вставало на западе, кричали в вербах грачи... Григорий отъезжал, полубернувшись на седле, и она смотрела ему вслед со слезами взволнованной радости и, прижав к острой, девичьей груди руки, ощущала стремительное биение сердца... Ей стало неприятно оттого, что Дарья вдруг нарушила молчание, и она нехотя спросила:

— В чем виниться-то?

— Был такой грех... Помнишь, весной приезжал Григорий с фронта на побывку? Вечером в этот день, помнится, я доила корову. Пошла в курень, слышу — Аксинья меня окликает. Ну, зазвала к себе, подарила, прямо-таки навязала, вот это колечко, — Дарья повертела на безымянном пальце золотое кольцо, — и упросила, чтобы я вызвала к ней Григория... Мое дело, что ж... Я ему сказала. Он тогда всю ночь... Помнишь, он говорил, будто Кудинов приезжал и он с ним просидел? Брехня! Он у Аксиньи был!

Ошеломленная, побледневшая Наталья молча ломала в пальцах сухую веточку донника.

— Ты не сердчай, Наташа, на меня. Я и сама не рада, что призналась тебе... — искательно сказала Дарья, пытаясь взглянуть Наталье в глаза.

Наталья молча глотала слезы. Так неожиданно и велико было снова поразившее ее горе, что она не нашла в себе сил ответить что-либо Дарье и только отворачивалась, пряча свое искаженное страданием лицо.

Уже перед въездом в хутор, досадуя на себя, Дарья подумала: «И чорт меня дернул расквитить ее. Теперь будет целый месяц слезы точить! Нехай бы уж жила, ничего не зная. Таким коровам, как она, вслепую жить лучше». Желая как-то сгладить впечатление, произведенное ее словами, она сказала:

— Да ты не убивайся дюже. Эка беда какая! У меня горюшко потяжелше твоего, да и то хожу козырем. А там чорт его знает,—может, он и на самом деле не видался с ней, а ходил к Кудинову. Я же за ним не следила. А раз испойманый — значит, не вор.

— Догадывалась... — тихо сказала Наталья, вытирая глаза кончиком платка.

— А догадывалась, так чего ж ты у него не допыталась? Эх, ты, никудышня! У меня бы он не открутился! Я бы его в такое щемило взяла, что аж всем чертям тошно стало бы!

— Боялась правду узнать... Ты думаешь — это легко? — блеснув глаза-

ми, заикаясь от волнения, сказала Наталья. — Это ты так... с Петром жили... А мне, как вспомню... как вспомню все, что пришлось... пришлось пережить... И зараз страшно!

— Ну, тогда забудь об этом, — простодушно посоветовала Дарья.

— Да разве это забывается!.. — чужим, охрипшим голосом воскликнула Наталья.

— А я бы забыла. Дело большое!

— Позабудь ты про свою болезнь! Дарья рассмеялась.

— И рада бы, да она, проклятая, сама о себе напоминает! Слушай, Наташка, хочешь, я у Аксиньи все дочиста узнаю? Она мне скажет! Накажи господь! Нет такой бабы, чтобы утерпела, не рассказала об том, кто и как ее любит. По себе знаю!

— Не хочу я твоей услуги. Ты мне и так услужила, — сухо ответила Наталья. — Я — не слепая, вижу, для чего ты рассказала мне про это. Ить не из жалости ты призналась, как сводничала, а чтобы мне тяжелее было...

— Верно! — вздохнув, согласилась Дарья. — Рассуди сама, не мне же одной страдать?

Дарья слезла с арбы, взяла в руки налыгач, повела устало заплетавшихся ногами быков под гору. На въезде в проулок она подошла к арбе.

— Эй, Наташка! Что я у тебя хочу спросить... Дюже ты своего любишь?

— Как умею, — невнятно отозвалась Наталья.

— Значит, дюже, — вздохнула Дарья. — А мне вот ни одного дюже не доводилось любить. Любила по-собачьему, кое-как, как приходилось... Мне бы теперь сызнова жизнь начать — может, и я бы другой стала?

Черная ночь сменила короткие летние сумерки. В темноте сметывали на базу сено. Женщины работали молча, и Дарья даже на окрики Пантелея Прокофьевича не отвечала.

## ГЛАВА XV

Стремительно преследуя отступавшего от Усть-Медведицкой противника, об-

единенные части Донской армии и верхнедонских повстанцев шли на север. Под хутором Шашкиным на Медведице разгромленные полки 9-й Красной армии пытались задержать казаков, но были снова сбиты и отступали почти до самой Грязе-Царицынской железнодорожной ветки, не оказывая решительного сопротивления.

Григорий со своей дивизией участвовал в бою под Шашкиным и крепко помог пехотной бригаде генерала Сугулова, попавшей под фланговый удар. Конный полк Ермакова, ходивший по приказу Григория в атаку, захватил в плен около двухсот красноармейцев, отбил четыре станковых пулемета и одиннадцать патронных повозок.

К вечеру с группой казаков 1-го полка Григорий въехал в Шашкин. Около дома, занятого штабом дивизии, под охраной полусотни казаков, стояла густая толпа пленных, белея бязевыми рубашками и кальсонами. Большинство их было разуто и раздето до белья, и лишь изредка в белесой толпе зеленела грязная защитная гимнастерка.

— До чего белые стали, как гуси! — воскликнул Прохор Зыков, указывая на пленных.

Григорий натянул поводья, повернул коня боком; разыскав в толпе казаков Ермакова, поманил его к себе пальцем.

— Под'езжай, чего ты по-за чужими спинами хоронишься?

Покашливая в кулак, Ермаков под'ехал. Под черными негустыми усами его, на разбитых губах запеклась кровь, правая щека вздулась и темнела свежими ссадинами. Во время атаки конь под ним споткнулся на всем скаку, упал, и камнем вылетевший из седла Ермаков сажня два скользил на животе по кочковатой толоке. И он, и конь одновременно вскочили на ноги. А через минуту Ермаков, в седле и без фуражки, страшно окровавленный, но с обнаженной шашкой в руке, уже достигал катившуюся по косогору казачью лаву...

— И чего бы это мне хорониться? — с кажущимся удивлением спросил он, поровнявшись с Григорием, а сам смущенно отводил в сторону еще не потух-



шие после боя, налитые кровью, осата-нелые глаза.

— Чует кошка, чью мясу с'ела! Чего сзади едешь? — гневно спросил Григорий.

Ермаков, трудно улыбаясь распухшими губами, покосился на пленных.

— Про какую это мясу ты разговор ведешь? Ты мне зараз загадки не задавай, все равно не разгадаю, я нынче с коня сторчь головой падал...

— Твоя работа? — Григорий плетью указал на красноармейцев.

Ермаков сделал вид, будто впервые увидел пленных, и разыграл неописуемое удивление:

— Вот, сукины сыны! Ах, проклятые! Раздели! Да когда же это они успели?.. Скажи на милость! Только-что от'ехал, строго-настрою приказал не трогать, и вот тебе, растелешили бедных дочиста!..

— Ты мне дурочку не трепи! Чего ты прикидываешься? Ты велел раздеть?

— Сохрани господь! Да ты в уме, Григорий Пантелеевич?

— Приказ помнишь?

— Это насчет того, чтобы...

— Да-да, это насчет того самого!..

— Как же, помню. Наизусть помню! Как стихок, какие в школе, бывалоча, разучивали.

Григорий невольно улыбнулся, — перегнувшись на седле, схватил Ермакова за ремень портупей. Он любил этого лихого, отчаянно храброго командира.

— Харлампий! Без шуток, к чему ты дозволил? Новенький полковник, какого заместо Копылова посадили в штаб, донесет, и придется отвечать. Ить не возрадуешься, как начнется волынка, спросы да допросы.

— Не мог стерпеть, Пантелевич! — серьезно и просто ответил Ермаков. — На них было все с иголочки, им только-что в Усть-Медведице выдали, ну, а мои ребята пообносились, да и дома с одежей не густо. А с них — один чорт — все в тылу посымали бы! Мы их будем забирать, а тыловая сволочь будет раздевать? Нет уж, нехай лучше наши попользуются! Я буду отвечать, а с меня взятки гладки! И ты, пожалуйста, ко мне не привязывайся. Я

знать ничего не знаю и об этих делах сном-духом не ведаю!

Поровнялись с толпой пленных. Сдержанный говор в толпе смолк. Стоявшие с краю сторонились конных, поглядывали на казаков с угрюмой опаской и настороженным выжиданием. Один красноармеец, распознав в Григории командира, подошел вплотную, коснулся рукой стремени:

— Товарищ начальник! Скажите вашим казакам, чтобы нам хоть шинели возвратили. Явите такую милость! По ночам холодно, а мы прямо-таки нагие, — сами видите.

— Небось, не замерзнешь середь лета, суслик! — сурово сказал Ермаков и, оттеснив красноармейца конем, повернулся к Григорию. — Ты не сумлевайся, я скажу, чтоб им отдали кое-что из старья. Ну, сторонись, сторонись, вояки! Вам бы в штанах вшей бить, а не с казаками сражаться!

В штабе допрашивали пленного командира роты. За столом, покрытым ветхой клеенкой, сидел новый начальник штаба, полковник Андреянов — пожилой, курносый офицер, с густою проседью на висках и с мальчишески оттопыренными, крупными ушами. Против него, в двух шагах от стола, стоял красный командир. Показания допрашиваемого записывал один из офицеров штаба, сотник Сулин, прибывший в дивизию вместе с Андреяновым.

Красный командир — высокий, рыжесусый человек, с пепельно-белесыми, остриженными под ежик волосами, — стоял, неловко переступая голыми ногами по крашеному охрой полу, изредка поглядывая на полковника. Казаки оставили на пленном одну нижнюю солдатскую рубаху из желтой, неотбеленной бязи да взамен отобранных штанов дали изорванные в клочья казачьи шаровары с выцветшими лампасами и неумело приштопанными латками. Проходя к столу, Григорий заметил, как пленный коротким, смущенным движением поправил разорванные на ягодицах шаровары, стараясь прикрыть оголенное тело.

— Вы говорите, Орловским губвоенкоматом? — спросил полковник, корот-



ко, поверх очков взглянув на пленного, и снова опустил глаза и, прищурившись, стал рассматривать и вертеть в руках какую-то бумажку, — как видно, документ.

— Да.

— Осенью прошлого года?

— В конце осени.

— Вы жжете!

— Я говорю правду.

— Утверждаю, вы жжете!..

Пленный молча пожал плечами. Полковник глянул на Григория, сказал, пренебрежительно кивнув в сторону допрашиваемого:

— Вот, полюбуйтесь: бывший офицер императорской армии, а сейчас, как видите, большевик. Попался и сочиняет, будто у красных он случайно, будто его мобилизовали. Врет дико, наивно, как гимназистика, и думает, что ему поверят, а у самого попросту нехватает гражданского мужества сознаться в том, что предал родину... Бойтся, мерзавец!

Трудно двигая кадыком, пленный заговорил:

— Я вижу, господин полковник, у вас хватает гражданского мужества на то, чтобы оскорблять пленного...

— С мерзавцами я не разговариваю!

— А мне сейчас приходится говорить.

— Осторожнее! Не вынуждайте меня, я могу вас оскорбить действием!

— В вашем положении это так нетрудно и главное — безопасно!

Не обмолвившийся ни словом Григорий присел к столу, с сочувственной улыбкой смотрел на бледного от негодования, бесстрашно огрызавшегося пленника. «Здорово ощипал он полковничка!» — с удовольствием подумал Григорий и не без злорадства глянул на мясистые, багровые щеки Андреянова, подергивавшиеся от нервного тика.

Своего начальника штаба Григорий не взлюбил с первой же встречи. Андреянов принадлежал к числу тех офицеров, которые в годы мировой войны не были на фронте, а благополучно отсиживались по тылам, используя влиятельные служебные и родственные связи и знакомства, всеми силами цепляясь

за безопасную службу. Полковник Андреянов и в гражданскую войну ухитрился работать на оборону, сидя в Новочеркасске, и только после отстранения от власти атамана Краснова он вынужден был поехать на фронт.

За две ночи, проведенных с Андреяновым на одной квартире, Григорий с его слов успел узнать, что он очень набожен, что он без слез не может говорить о торжественных церковных богослужениях, что жена его — самая примерная жена, какую только можно представить, что зовут ее Софьей Александровной и что за ней некогда безуспешно ухаживал сам наказный атаман барон фон-Габбе; кроме этого, полковник любезно и подробно рассказал: каким именем владел его покойный родитель, как он — Андреянов — дослужился до чина полковника, с какими высокопоставленными лицами ему приходилось охотиться в 1916 году; а также сообщил, что лучшей игрой он считает вист, полезнейшим из напитков — коньяк, настоенный на тминном листе, а наиболее выгоднейшей службой — службу в войсковом интендантстве.

От близких орудийных выстрелов полковник Андреянов вздрагивал, верхом ездил неохотно, ссылаясь на болезнь печени; неустанно заботился об увеличении охраны при штабе, а к казакам относился с плохо скрываемой неприязнью, так как, по его словам, все они были предателями в 1917 году, и с этого года он взненавидел всех «нижних чинов» без разбора. «Только дворянство спасет Россию!» — говорил полковник, вскользь упоминая о том, что и он — дворянского рода, и что род Андреяновых — старейший и заслуженнейший на Дону.

Несомненно, основным пороком Андреянова была болтливость, та старческая, безудержная и страшная болтливость, которой страдают некоторые словоохотливые и неумные люди, достигшие преклонного возраста и еще смолodu привыкшие судить обо всем легко и развязно.

С людьми этой птичьей породы Григорий не раз встречался на своем веку и всегда испытывал к ним чувство глу-

бокого отвращения. На второй день после знакомства с Андреяновым Григорий начал избегать встреч с ним и днем преуслевал в этом, но, как только останавливались на ночевку, Андреянов разыскивал его, торопливо спрашивал: «Вместе ночуем?» — и, не дожидаясь ответа, начинал: «Вот вы, любезнейший мой, говорите, что казаки неустойчивы в пешем бою, а я, в бытность мою офицером для поручений при его превосходительстве... Эй, кто там, принесите мой чемодан и постель сюда!». Григорий ложился на спину, закрывал глаза и, стиснув зубы, слушал, потом неучтиво поворачивался к неугомонному рассказчику спиной, с головой укрывался шинелью, думал с немою яростью: «Как только получу приказ о переводе — лупану его чем-нибудь тяжелым по голове: может, после этого он хоть на неделю языка лишится!». «Вы спите, сотник?» — спрашивал Андреянов. «Сплю» — глухо отвечал Григорий. «Позвольте, я еще не досказал!» — и рассказ продолжался. Сквозь сон Григорий думал: «Нарочно подсунули мне этого балабона. Должно, Фицхелауров постарался. Ну как с ним, с таким ушибленным, служить?». И, засыпая, слышал пронзительный тенорок полковника, звучащий, как дождевая дробь по железной крыше.

Вот поэтому-то Григорий и злорадствовал, видя, как ловко пленный командир отделяет его разговорчивого начальника штаба.

С минуту Андреянов молчал; щурился; длинные мочки его оттопыренных ушей ярко пунцовели, лежавшая на столе белая, пухлая рука, с массивным золотым кольцом на указательном пальце, вздрагивала:

— Слушайте вы, ублюдок! — сказал он охрипшим от волнения голосом. — Я приказал привести вас ко мне не для того, чтобы пикироваться с вами, вы этого не забывайте! Понимаете ли вы, что вам не отвертеться?

— Отлично понимаю.

— Тем лучше для вас. В конце-концов мне наплевать, добровольно вы пошли к красным или вас мобилизовали.

Важно не это, важно то, что вы из ложно понимаемых вами соображений чести отказываетесь говорить...

— Очевидно, мы с вами разно понимаем вопросы чести.

— Это потому, что у вас ее не осталось и вот столько!

— Что касается вас, господин полковник, то, судя по обращению со мной, я сомневаюсь, чтобы честь у вас вообще когда-нибудь была!

— Я вижу — вы хотите ускорить развязку?

— А вы думаете, в моих интересах ее затягивать? Не пугайте меня, не выйдет!

Андреянов дрожащими руками раскрыл портсигар, закурил, сделал две жадных затяжки и снова обратился к пленному:

— Итак, вы отказываетесь отвечать на вопросы?

— О себе я говорил.

— Идите к чорту! Ваша паршивая личность меня меньше всего интересует. Потрудитесь ответить вот на какой вопрос: какие части подошли к вам от станции Себряково?

— Я вам ответил, что я не знаю.

— Вы знаете!

— Хорошо, доставлю вам удовольствие: да, я знаю, но отвечать не буду.

— Я прикажу вас выпороть шомполами, и тогда вы заговорите!

— Едва ли! — Пленный тронул левой рукой усы, уверенно улыбнулся.

— Камышинский полк участвовал в этом бою?

— Нет.

— Но вам левый фланг прикрывала кавалерийская часть, что это за часть?

— Оставьте! Еще раз повторяю вам, что на подобные вопросы отвечать не стану.

— На выбор: или ты, собака, сейчас же развяжешь язык, или через десять минут будешь поставлен к стенке! Ну?!

И тогда неожиданно высоким, юношески звучным голосом пленный сказал:

— Вы мне надоели, старый дурак! Тупица! Если б вы попались ко мне, я бы вас не так допрашивал!..

Андреянов побледнел, схватился за кобуру нагана. Тогда Григорий неторопливо встал и предостерегающе поднял руку.

— Ого! Ну, теперь хватит! Погугарили — и хватит. Обое вы горячие, как погляжу... Ну, не сошлись, и не надо, об чем толковать? Он правильно делает, что не выдает своих. Ей-богу, это здорово! Я и не ждал!

— Нет, позвольте!.. — горячился Андреянов, тщетно пытаясь расстегнуть кобуру.

— Не позволю! — с веселым оживлением сказал Григорий, вплотную подходя к столу, заслоняя собой пленного. — Пустое дело — убить пленного. Как вас совесть не зазревает намеряться на него, на такого? Человек безоружный, взятый в неволю, вон на нем и одежды-то не оставили, а вы намахиваетесь...

— Долой! Меня оскорбил этот негодяй! — Андреянов с силой оттолкнул Григория, выхватил наган.

Пленный живо повернулся лицом к окну, — как от холода повел плечами. Григорий с улыбкой следил за Андреяновым, а тот, почувствовав в ладони шероховатую рукоять револьвера, как-то нелепо взмахнул им, потом опустил дуло книзу и отвернулся.

— Рук не хочу марать... — отдышавшись и облизав пересохшие губы, хрипло сказал он.

Не сдерживая смеха, сияя из-под усов кипенным оскалом зубов, Григорий сказал:

— Оно и не пришлось бы! Вы поглядите, наган-то у вас разряженный. Ишо на ночевке, я проснулся утром, взял его со стула и поглядел... Ни одного патрона в нем, и нечищенный, должно, месяца два! Плохо вы доглядаете за личным оружием!

Андреянов опустил глаза, повертел большим пальцем барабан револьвера, улыбнулся:

— Чорт! А ведь верно...

Сотник Сулин, молча и насмешливо наблюдавший за всем происходившим, свернул протокол допроса, сказал, приятно картавя:

— Я вам неоднократно говорил, Семен Поликарпович, что с оружием вы обращаетесь безобразно. Сегодняшний случай — лишнее доказательство тому.

Андреянов поморщился, крикнул:

— Эй, кто там из нижних чинов? Сюда!

Из передней вошли два ординарца и начальник караула.

— Уведите! — Андреянов кивком головы указал на пленного.

Тот повернулся лицом к Григорию, молча поклонился ему, пошел к двери. Григорию показалось, будто у пленного под рыжеватыми усами в чуть приметной благодарной усмешке шевельнулись губы...

Когда утихли шаги, Андреянов усталым движением снял очки, тщательно протер их кусочком замши, желчно сказал:

— Вы блестяще защищали эту сволочь, это — дело ваших убеждений, но говорить при нем о нагане, ставить меня в неловкое положение, — послушайте, что же это такое?

— Беда не доже большая, — примирительно ответил Григорий.

— Нет, все же напрасно. А знаете ли, я бы мог его убить. Тип возмутительный! До вашего прихода я бился с ним полчаса. Сколько он тут врал, путал, изворачивался, давал заведомо ложных сведений — ужас! А когда я его уличил — попросту и наотрез отказался говорить. Видите ли, офицерская честь не позволяет ему выдавать противнику военную тайну. Тогда об офицерской чести не думал, сукин сын, когда нанимался к большевикам... Полагаю, что его и еще двух из командного состава надо без шума расстрелять. В смысле получения интересующих нас сведений — они все безнадёжны: закоренелые и непоправимые негодяи, следовательно, и щадить их незачем. Вы — как?

— Каким путем вы узнали, что он — командир роты? — вместо ответа спросил Григорий.

— Выдал один из его же красноармейцев.

— Я полагаю — надо расстрелять этого красноармейца, а командиров

оставить!—Григорий выжидающе взглянул на Андреянова.

Тот пожал плечами и улыбнулся так, как улыбаются, когда собеседник неудачно шутит.

— Нет, серьезно, вы как?

— А вот так, как я уже вам сказал.

— Но, позвольте, это из каких же соображений?

— Из каких? Из тех самых, чтобы сохранить для русской армии дисциплину и порядок. Вчера, когда мы ложились спать, вы, господин полковник, дюже толково рассказывали, какие порядки надо будет заводить в армии после того, как разобьем большевиков, чтобы вытравить из молодежи красную заразу. Я с вами был целиком согласный, помните? — Григорий поглаживал усы, следя за меняющимся выражением лица полковника, рассудительно говорил: — А зараз вы что предлагаете? Этим же вы разврат заводите! Значит, нехай солдаты выдают своих командиров? Это вы чему же их научаете? А доведись нам с вами быть на таком положении, тогда что? Нет, помилуйте, я тут упрუსь! Я — против.

— Как хотите, — холодно сказал Андреянов и внимательно посмотрел на Григория. Он слышал о том, что повстанческий командир дивизии своенравен и чудаковат, но эдакого от него не ожидал. Он только добавил: — Мы обычно так поступали в отношении взятых в плен красных командиров, и в особенности — бывших офицеров. У вас что-то новое... И мне не совсем понятно ваше отношение к такому, казалось бы, бесспорному вопросу.

— А мы обычно убивали их в бою, ежели доводилось, но пленных без нужды не расстреливали! — багровея, ответил Григорий.

— Хорошо, пожалуйста, отправим их в тыл, — согласился Андреянов. — Теперь вот какой вопрос: часть пленных — мобилизованные крестьяне Саратовской губернии — из явила желание сражаться в наших рядах. Третий пехотный полк наш не насчитывает и трехсот штыков. Считаете ли вы возможным после тщательного отбора

вливать в него часть добровольцев из пленных? На этот счет из штабарма у нас имеются определенные указания.

— Ни одного мужика я к себе не возьму. Убыль пушай пополняют мне казаками, — категорически заявил Григорий.

Андреянов попробовал убедить его:

— Послушайте, не будем спорить. Мне понятно ваше желание иметь в дивизии однородный казачий состав, но необходимость понуждает нас не брезговать и пленными. Даже в Добровольческой армии некоторые полки укомплектовываются пленными.

— Они пушай делают, как хотят, а я отказываюсь принимать мужиков. Давайте об этом больше не будем гутарить, — отрезал Григорий.

Спустя немного он вышел распорядиться относительно отправки пленных. А за обедом Андреянов взволнованно сказал:

— Очевидно, не сработаемся мы с вами...

— Я тоже так думаю, — равнодушно ответил Григорий. Не замечая улыбки Сулина, он пальцами достал из тарелки кусок вареной баранины, начал с таким волчьим хрустом дробить зубами твердоватый хрящ, что Сулин сморщился, как от сильной боли, и даже глаза на секунду закрыл.

Через два дня преследование отступавших красных частей повела группа генерала Сальникова, а Григория срочно вызвали в штаб группы, и начальник штаба — пожилой благообразный генерал, — ознакомив его с приказом командующего Донской армией о расформировании повстанческой армии, без обиняков сказал:

— Ведя партизанскую войну с красными, вы успешно командовали дивизией, теперь же мы не можем доверить вам не только дивизии, но и полка. У вас нет военного образования, и в условиях широкого фронта, при современных методах ведения боя, вы не сможете командовать крупной войсковой единицей. Вы согласны с этим?

— Да, — ответил Григорий. — Я сам хотел отказаться от командования дивизией.

— Очень хорошо, что вы не переоцениваете ваших возможностей. У нынешних молодых офицеров это качество встречается весьма редко. Так вот: приказом командующего фронтом вы назначаетесь командиром четвертой сотни двенадцатого полка. Полк сейчас на марше, верстах в двадцати отсюда, где-то около хутора Вязникова. Поезжайте сегодня же, в крайнем случае — завтра. Вы, как будто, что-то имеете сказать?

— Я хотел бы, чтобы меня отчислили в хозяйственную часть.

— Это невозможно. Вы будете необходимы на фронте.

— Я за две войны четырнадцать раз ранен и контужен.

— Это не имеет значения. Вы молоды, выглядите прекрасно и еще можете сражаться. Что касается ранений, то кто из офицеров их не имеет? Можете идти. Всего наилучшего!

Вероятно, для того, чтобы предупредить недовольство, которое неизбежно должно было возникнуть среди верхнедонцов при расформировании повстанческой армии, многим рядовым казакам, отличившимся во время восстания, тотчас же после взятия Усть-Медведицкой нашили на погоны лычки, почти все вахмистры были произведены в подхорунжие, а офицеры — участники восстания — получили повышение в чинах и награды.

Не был обойден и Григорий: его произвели в сотники, в приказе по армии отметили его выдающиеся заслуги по борьбе с красными и объявили благодарностью.

Расформирование произвели в несколько дней. Безграмотных командиров дивизий и полков заменили генералы и полковники, командирами сотен назначили опытных офицеров; целиком был заменен командный состав батарей и штабов, а рядовые казаки пошли на пополнение номерных полков Донской армии, потрепанной в боях на Донце.

Григорий перед вечером собрал казаков, объявил о расформировании дивизии, — прощаясь, сказал:

— Не поминайте лихом, станишники! Послужили вместе, неволя заставила, а с нынешнего дня будем трепать кручину наврозь. Самое главное — головы берегите, чтобы красные вам их не подырявили. У нас они, головы, хотя и дурные, но зря подставлять их под пули не надо. Ими ишо придется думать, крепко думать, как дальше быть...

Казаки подавленно молчали, потом загомонили все сразу, разноголосо и глухо:

— Опять старинка зачинается?

— Куда же нас теперича?

— Силуют народ, как хотят, сволочи!

— Не желаем расформировываться! Что это за новые порядки?!

— Ну, ребята, объединились на свою шею!..

— Сызнова их благородия заламывать нас зачинают!

— Зараз держися! Суставчики зачнут выпрямлять во-всю...

Григорий выждал тишины, сказал:

— Занапрасну глотки дерете. Кончилась легкая пора, когда можно было обсуждать приказы и спорить с начальником. Расходишь по квартирам да языками поменьше орудуите, а то по нынешним временам они не до Киева доводят, а в аккурат до полевых судов да до штрафных сотен.

Казаки подходили взводами, прощались с Григорием за руку, говорили:

— Прощай, Пантелевич! Ты нас тоже недобрым словом не поминай.

— Нам с чужими тоже, ох, нелегко будет службу ломать!

— Зря ты нас в трату дал. Не соглашался бы сдавать дивизию!

— Жалкуем об тебе, Мелехов. Чужие командиры, они, может, и образованнее тебя, да ить нам от этого не легче, а тяжелее будет, вот в чем беда!

Лишь один казак, уроженец с хутора Наполовского, сотенный балагур и остряк, сказал:

— Ты, Григорий Пантелевич, не верь им. Со своими ли работаешь, аль с чужими — одинаково тяжело, ежели работа не в совесть!

Ночь Григорий пил самогон с Ермаковым и другими командирами, а наутро взял с собой Прохора Зыкова и уехал догонять 19-й полк.

Не успел принять сотню и как следует ознакомиться с людьми — вызвали к командиру полка. Было раннее утро. Григорий осматривал лошадей, замешкался и явился только через полчаса. Он ждал, что строгий и требовательный к офицерам командир полка сделает ему замечание, но тот поздоровался очень приветливо, спросил: «Ну, как вы находите сотню? Стоящий народ?» — и, не дождавшись ответа, глядя куда-то мимо Григория, сказал:

— Вот что, дорогой, должен вам сообщить очень прискорбную новость... У вас дома — большое несчастье. Сегодня ночью из Вешенской получена телеграмма. Предоставляю вам месячный отпуск для устройства семейных дел. Поезжайте.

— Дайте телеграмму, — бледнея, проговорил Григорий.

Он взял сложенный вчетверо листок бумаги, развернул его, прочитал, сжал в мгновение запятой руке. Ему потребовалось небольшое усилие, чтобы овладеть собой, и он лишь слегка запылулся, когда говорил:

— Да, этого я не ждал. Стало быть, я поеду. Прощайте.

— Не забудьте взять отпускное свидетельство.

— Да-да. Спасибо, не забуду.

В сени он вышел, уверенно и твердо шагая, привычно придерживая шашку, но, когда начал сходить с высокого крыльца, вдруг перестал слышать звук собственных шагов и тотчас почувствовал, как острая боль штыком вошла в его сердце.

На нижней ступеньке он качнулся и ухватился левой рукой за шаткое перильце, а правой — проворно расстегнул воротник гимнастерки. С минуту стоял, глубоко и часто дыша, но за эту минуту он как бы охмелел от страдания, и, когда оторвался от перил и направился к привязанному у калитки коню, то шел, уже тяжело ступая ногами, слегка покачиваясь.

## ГЛАВА XVI

Несколько дней после разговора с Дарьей Наталья жила, испытывая такое ощущение, какое бывает во сне, когда тяжело давит дурной сон и нет сил очнуться. Она искала благовидного предлога, чтобы пойти к жене Прохора Зыкова и попытаться у нее узнать, как жил Григорий в Вешенской во время отступления и виделся ли там с Аксиньей, или нет. Ей хотелось убедиться в вине мужа, а словам Дарьи она и верила, и не верила.

Поздно вечером подошла она к зыковскому базу, беспечно помахивая хвостиком. Прохорова жена, управившись с делами, сидела около ворот.

— Здорово, жалмерка! Телка нашего не видала? — спросила Наталья.

— Слава богу, милушка! Нет, не видала.

— Такой поблудный, проклятый, — дома никак не живет! Где его искать — ума не приложу.

— Постой, отдохни трошки, найдется Семечками угостить?

Наталья подошла, присела. Завязался немудрый бабий разговор.

— Про служивого не слышать? — поинтересовалась Наталья.

— И вестки нету. Как, скажи, в воду канул, анчихрист! А твой либо прислал что?

— Нет. Сулился Гриша написать, да что-то не шлет письма. Гутарют в народе, будто где-то за Усть-Медведицу наши пошли, а окромя ничего не слыхала. — Наталья перевела разговор на недавнее отступление за Дон, осторожно начала выпрашивать, как жили служивые в Вешенской и кто был с ними из хуторных. Лукавая прохорова жена не догадалась, зачем пришла к ней Наталья, и отвечала сдержанно, сухо.

Со слов мужа она все знала о Григории, но, хотя язык у нее и чесался, рассказывать побоялась, памятуя прохорово наставление: «Так и знай: скажешь об этом кому хоть слово — положу тебя головой на дровосеку, язык твой поганый на аршин вытяну и отрублю. Ежли дойдет слух об этом до Григория — он же меня походя убьет, между

делом! А мне одна ты осточертела, а жизнь пока ишо нет, поняла? Ну, и молчи, как дохлая».

— Аксинью Астахову не доводилось твоему Прохору видать в Вешках? — уже напрямик спрашивала потерявшая терпение Наталья.

— Откуда ему было ее видать! Разве им там до этого было? Истинный бог, ничего не знаю, Мироновна, и ты про это у меня хоть не пытай. У моего беле-сого чорта слова путнего не добьешься. Только и разговору знает — подай да прими.

Так ни с чем и ушла еще больше раздосадованная и взволнованная Наталья. Но оставаться в неведении она больше не могла, это и толкнуло ее зай-ти к Аксинье.

Живя по соседству, они за последние годы часто встречались, молча кланялись друг дружке, иногда перебрасывались несколькими фразами. Та пора, когда они при встречах, не здороваясь, обменивались ненавидящими взглядами, прошла; острота взаимной неприязни смягчилась, и Наталья, идя к Аксинье, надеялась, что та ее не выгонит и уж о ком, о ком, а о Григории будет говорить. И она не ошиблась в своих предположениях.

Не скрывая изумления, Аксинья пригласила ее в горницу, задернула занавески на окнах, зажгла огонь, спросила: — С чем хорошим пришла?

— Мне с хорошим к тебе не ходить...

— Говори плохое. С Григорием Пантелевичем беда случилась?

Такая глубокая, нескрываемая тревога прозвучала в аксиньином вопросе, что Наталья поняла все. В одной фразе сказала вся Аксинья, открылось все, чем она жила и чего боялась. После этого, по сути, и спрашивать об ее отношениях к Григорию было незачем, однако Наталья не ушла, помедлив с ответом, она сказала:

— Нет, муж живой и здоровый, не пужайся.

— Я и не пужаюсь, с чего ты берешь? Это тебе об его здоровье надо страдать, а у меня своей заботы хватает. — Аксинья говорила свободно, но, почувствовав, как кровь бросилась ей

в лицо, проворно подошла к столу и, стоя спиной к гостье, долго поправляла и без того хорошо горевший огонь в лампе.

— Про Степана твоего слышать что?

— Поклон пересылал недавно.

— Живой-здоровый он?

— Должно быть. — Аксинья пожалала плечами.

И тут не смогла она покривить душой, скрыть свои чувства: равнодушие к судьбе мужа так явственно проглянуло в ее ответе, что Наталья невольно улыбнулась.

— Видать, не дюже ты об нем печалуешься... Ну, да это — твое дело. Я вот чего пришла: по хутору идет брехня, будто Григорий опять к тебе приклоняется, будто выдаетесь вы с ним, когда приезжает он домой. Это верно?

— Нашла у кого спрашивать! — насмешливо сказала Аксинья. — Давай я у тебя спрошу, верно это или нет?

— Правду боишься сказать?

— Нет, не боюсь.

— Тогда скажи, чтобы я знала, не мучилась. Зачем же меня зря томить?

Аксинья сузила глаза, шевельнув черными бровями.

— Мне тебя все одно жалко не будет, — резко сказала она. — У нас с тобой так: я мучаюсь — тебе хорошо, ты мучаешься — мне хорошо... Одного ить делим? Ну, а правду я тебе скажу: чтобы знала загодя. Все это верно, брешут не зря. Завладала я Григорием опять и уж зараз постараясь не выпустить его из рук. Ну, чего ж ты после этого будешь делать? Стекла мне в курене побьешь или ножом разрежешь?

Наталья встала, завязала узлом гибкую хворостину, бросила ее к печке и ответила с несвойственной ей твердостью:

— Зараз я тебе никакого лиха не сделаю. Погожу, придет Григорий, погугарю с ним, потом будет видно, как мне с вами, обоими, быть. У меня двое детей, и за них и за себя я постоять сумею!

Аксинья улыбнулась.

— Значит, пока мне можно жить без опаски?



Не замечая насмешки, Наталья пошла к Аксинье, тронула ее за рукав.

— Аксинья! Всю жизнь ты мне попереку стояла, но зараз уж я просить не буду, как тогда, помнишь? Тогда я помоложе была, поглупее, думала — упрощу ее, она пожалеет, смилуетя и откажется от Гриши. Зараз не буду! Одно я знаю: не любишь ты его, а тянешься за ним по привычке. Да и любила ль ты его когда-нибудь — так, как я? Должно быть, нет. Ты с Листницким путалась, с кем ты, гулящая, не путалась? Когда любят — так не делают.

Аксинья побледнела, — отстранив Наталью рукой, встала с сундука.

— Он меня этим не попрекал, а ты попрекаешь? Какое тебе дело до этого? Ладно! Я — плохая, ты — хорошая, дальше что?

— Это все. Не сердчай. Зараз уйду. Спасибо, что открыла правду.

— Не стоит, не благодари, и без меня узнала бы. Погоди трошки, я выйду с тобой ставни закрыть. — На крыльце Аксинья приостановилась, сказала: — Я рада, что мы с тобой по-доброму расстаемся, без драки, но насоседек я так тебе скажу, любезная соседка: в силах ты будешь — возьмешь его, а нет — не обижайся. Добром я от него тоже не откажусь. Года мои не молоденькие, и я, хоть ты назвала меня гулящей, — не ваша Дашка, такими делами я сроду не шутковала... У тебя хоть дети есть, а у меня, — голос Аксиньи дрогнул и стал глуше и ниже, — один на всем белом свете! Первый и последний. Знаешь что? Давай об нем больше не гутарить. Жив будет он, оборонит его от смерти царица небесная, вернется — сам выберет...

Ночь Наталья не спала, а наутро вместе с Ильиничной ушла полоть бахчу. В работе ей было легче. Она меньше думала, равномерно опуская мотыгу на высушенные солнцем, рассыпающиеся в прах комки песчаного суглинка, изредка выпрямляясь, чтобы отдохнуть, вытереть пот с лица и выпить.

По синему небу плыли и таяли изорванные ветром белые облака. Солнечные лучи палили раскаленную землю. С

востока находил дождь. Не поднимая головы, Наталья спиной чувствовала, когда набежавшая тучка заслоняла солнце; на миг становилось прохладнее. на бурую, дышащую жаром землю, на разветвленные арбузные плети, на высокие стебли подсолнуха стремительно ложилась серая тень. Она покрывала раскинутые по косогору бахчи, разомлевшие и полегшие от зноя травы, кусты боярышника и терна с понурой, испачканной птичьим пометом листвой. Звонче звенел насадный перепелиный крик, отчетливей слышалось милое пение жаворонков, и даже ветер, шевеливший теплые травы, казался менее горячим. А потом солнце наискось пронизывало ослепительно белую кайму уплывавшей на запад тучки и, освободившись, снова низвергало на землю золотые, сияющие потоки света. Где-то далеко-далеко, по голубым отрогам обдонских гор, еще шарила и пятнила землю провожающая тучку тень, а на бахчах уже властвовал янтарно-желтый полдень, дрожало, переливалось на горизонте текучее марево, удушливее пахла земля и вскормленные ею травы.

В полдень Наталья сходила к вырытому в яру колодезю, принесла кувшин ледяной родниковой воды. Они с Ильиничной напились, помыли руки, сели на солнцепеке обедать. Ильинична на разостланной завеске аккуратно порезала хлеб, достала из сумки ложки, чашку. из-под кофты вынула спрятанный от солнца узкогорлый кувшин с кислым молоком.

Наталья ела неохотно, и свекровь спросила:

— Давно примечаю за тобой, что-то ты не такая стала... Аль уж с Гришкой что у вас получилось?

У Натальи жалко задрожали обветренные губы.

— Он, маманя, опять с Аксиньей живет.

— Это... откуда же известно?

— Я вчера у Аксиньи была.

— И она, подлюка, призналась?

— Да.

Ильинична помолчала, раздумывая. На морщинистом лице ее, в углах губ легли строгие складки.

— Может, она похваляется, проклятая?

— Нет, маманя, это верно, чего уж там...

— Не доглядела ты за ним...—осторожно сказала старуха. — С такого муженька глаз не надо сводить.

— Да разве углядишь? Я на его совесть полагаюсь... Неужли надо было его к юбке моей привязывать? — Наталья горько улыбулась, чуть слышно добавила: — Он не Мишатка, чтобы его сдержать. Наполовину седой стал, а старое не забывает...

Ильинична вымыла и вытерла ложки, ополоснула чашку, прибрала посуду в сумку и только тогда спросила:

— Это вся и беда?

— Какая вы, маманя... И этой беды хватит, чтобы белый свет стал немил!

— И чего ж ты надумала?

— Чего ж окромя надумаешь? Заберу детей и уйду к своим. Больше жить с ним не буду. Нехай берет ее в дом, живет с ней... Помучилась я и так достаточно.

— Смолоду и я так думала, — со вздохом сказала Ильинична. — Мой-то тоже был кобелем не из последних. Что я горюшка от него приняла, и сказать нельзя. Только уйтить от родного мужа нелегко, да и не к чему. Пораскинью умом — сама увидишь. Да и детишков от отца забирать, как это так? Нет, это ты зря гутаришь. И не думай об этом, не велею!

— Нет, маманя, жить я с ним не буду, и слов не теряйте.

— Как это мне слов не терять? — возмутилась Ильинична. — Да ты мне что — не родная, что ли? Жалко мне вас, проклятых, или нет? И ты мне, матери-старухе, такие слова говоришь? Сказано тебе: выкинь из головы, стало быть — и все тут. Ишь, выдумала: «Уйду из дому!». А куда прийдешь? А кому ты из своих нужна? Отца нету, курень сожгли, мать сама под чужим плетнем христа ради будет жить, и ты туда воткнешься, и внуков моих за собой потянешь? Нет, милая, не будет твоего дела! Приедет Гришка, тогда поглядим, что с ним делать, а зараз ты

мне и не толкуй об этом, не велею и слушать не буду!

Все, что так долго копилось у Натальи на сердце, вдруг прорвалось в судорожном припадке рыданий. Она со стоном сорвала с головы платок, упала лицом на сухую, неласковую землю и, прижимаясь к ней грудью, рыдала без слез.

Ильинична — эта мудрая и мужественная старуха — и с места не двинулась. Она тщательно завернула в кофту кувшин с остатками молока, положила его в холодильник, потом налила в чашку воды, подошла и села рядом с Натальей. Она знала, что такому горю словами не поможешь; знала и то, что лучше слезы, чем сухие глаза и твердо сжатые губы. Дав Наталье выплакаться, Ильинична положила свою загрубелую от работы руку на голову снохи, — глядя черные, глянцевитые волосы, сурово сказала:

— Ну, хватит! Всех слез не вычерпашь, оставь и для другого раза. Нака вот, попей воды.

Наталья утихла. Лишь изредка поднимались ее плечи да по телу пробегала мелкая дрожь. Неожиданно она вскочила, оттолкнула Ильиничну, протягивавшую ей чашку с водой, и, повернувшись лицом на восток, молитвенно сложив мокрые от слез ладони, скороговоркой, захлебываясь, прокричала:

— Господи! Вся душеньку мою он вымотал! Нету больше силы так жить! Господи, накажи его, проклятого! Срази его там насмерть! Чтобы больше не жил он, не мучил меня!..

Черная, клубящаяся туча ползла с востока. Глухо грохотал гром. Пронизывая крутые облачные вершины, извиваясь, скользила по небу жгуче-белая молния. Ветер клонил на запад ропщущие травы, нес со шляха горькую пыль, почти до самой земли пригибал отягощенные семечками шляпки подсолнухов.

Ветер трепал раскосмаченные волосы Натальи, сушил ее мокрое лицо, обвивал вокруг ног широкий подол серой будничной юбки.

Несколько секунд Ильинична с суевренным ужасом смотрела на сноху. На фоне вставшей в полнеба черной грозо-

вой тучи она казалась ей незнакомой и страшной.

Стремительно находил дождь. Предгрозовая тишина стояла недолго. Тревожно заверещал косо снижавшийся копчик, в последний раз свистнул возле норы суслик, густой ветер ударил в лицо Ильиничны мелкой песчаной пылью, с воем полетел по степи. Старуха с трудом поднялась на ноги. Лицо ее было смертельно-бледно, когда она сквозь гул подступившей бури глухо крикнула:

— Опамятуйся! Бог с тобой! Кому ты смерти просишь?!

— Господи, покарай его! Господи, накажи!—выкрикивала Наталья, устремив обезумевшие глаза туда, где величаво и дико громоздился тучи, вздыбленные вихрем, озаряемые слепящими вспышками молний.

Над степью с сухим треском ударил гром. Охваченная страхом, Ильинична перекрестилась, неверными шагами подошла к Наталье, схватила ее за плечо.

— Становись на колени! Слышишь, Наташка?!

Наталья глянула на свекровь какими-то незрячими глазами, безвольно опустилась на колени.

— Проси у бога прощения! — властно приказала Ильинична. — Проси, чтобы не принял твою молитву. Кому ты смерти просила? Родному отцу своих детей! Ох, великий грех... Крестись! Кланяйся в землю. Говори: «Господи, прости мне, окаянной, мое прегрешение».

Наталья перекрестилась, что-то шепнула побелевшими губами и, стиснув зубы, неловко повалилась на бок.

Омытая ливнем степь дивно зелена. От дальнего пруда до самого Дона перекинулась горбатая яркая радуга. Немо погромыхивал на западе гром. В яру с орлиным клекотом мчалась мутная нагорная вода. Вниз, к Дону, по косогору, по бахам стремились вспенившиеся ручьи. Они несли порезанные дождем листья, вымытые из почвы корневища трав, сломленные ржаные колосья. По бахам, заваливая арбузные

и дынные плети, расплзались жирные песчаные наносы; вдоль по летникам, глубоко промывая колени, стекала взывавшая вода. У отхожины дальнего буерака догорал подожженный молнией столб дыма, почти касаясь верхушкой распростертой по небу радуги.

Ильинична и Наталья спускались к хутору, осторожно ступая босыми ногами по грязной, скользкой дороге, высоко подобрыв юбки. Ильинична говорила:

— Норов у вас, у молодых, велик, истинный бог! Чуть чего — вы и беситесь. Пожила бы ты так, как я смолоду жила, что бы ты тогда делала? Тебя Гришка за всю жизнь пальцем не тронул, и то ты недовольная, вон какую чуду сотворила: и бросать-то его собралась, и оморочком тебя шибало, и чего ты только не делала, бога и то в ваши поганые дела путала.. Ну, скажи, болезная, и это — хорошо? А меня идол мой хромоногий смолоду до смерти убивал, да ни за что, ни про что; вины моей перед ним нисколько не было. Сам паскудничал, а на мне зло срывал. Придет, бывало, на заре, закричу горькими слезами, попрекну его, ну и даст кулакам волю... По месяцу вся синяя, как железо, ходила, а ить выжила же и детей вскормила, и из дому ни разу не счиналась уходить. Я не охваливаю Гришку, но с таким ишо можно жить. Кабы не эта змея — был бы он из хуторных казаков первым. Приворожила она его, не иначе.

Наталья долго шла, молча что-то обдумывая, потом сказала:

— Мамадя, я об этом больше не хочу гутарить. Григорий приедет, там видно будет, куда мне деваться... Может, сама уйду, а может, и он выгонит, а зараз я из вашего дома никуда не тронусь.

— Вот так бы и давно сказала! — обрадовалась Ильинична. — Бог даст, все уладится. Он ни за что тебя не выгонит, и не думай об этом! Так он любит и тебя, и детишков, да чтобы помыслил такое? Нет-нет! Не променяет он тебя на Аксинью, не может он такое сделать! Ну, а промеж своих мало ли

чего не бывает? Лишь бы живой он возвратился...

— Смерти я ему не хочу... Сгоряча я там все говорила... Вы меня не попрекайте за это... Из сердца его не вынешь, но и так жить тяжелехонько!..

— Милушка моя, родимая! Да разве ж я не знаю? Только сразмаху ничего не надо делать. Верное слово, бросим об этом гутарить! И ты старику, ради Христа, зараз ничего не говори. Не его это дело.

— Я вам хочу про одно сказать... Буду я с Григорием жить или нет, пока не известно, но родить от него больше не хочу. Ишо с этими не видно, куда придется деваться... А я беременная зараз, маманя...

— И давно?

— Третий месяц.

— Куда ж от этого денешься? Хочешь, не хочешь, а родить придется.

— Не буду, — решительно сказала Наталья. — Нынче же пойду к бабке Капитоновне. Она меня от этого ослобонит... Кое-кому из баб она делала.

— Это — плод травить? И поворачивается у тебя язык, у бессовестной? — Возмущенная Ильинична остановилась среди дороги, всплеснула руками. Она еще что-то хотела сказать, но сзади послышалось тарактенье колес, звучное чмоканье конских копыт по грязи и — чей-то понукающий голос.

Ильинична и Наталья сошли с дороги, на-ходу опуская подоткнутые юбки. **Евлавий** с поля старик — Бесхлебнов **Филипп Агеевич** — поровнялся с ними, придержал резвую кобылку.

— Садитесь, бабы, подвезу, чего зря грязь месить.

— Вот спасибо, Агеевич, а то мы уж уморились **осклизаться**, — довольно проговорила Ильинична и первая села на просторные дроги.

После обеда Ильинична хотела поговорить с Натальей, доказать ей, что нет нужды избавляться от беременности; моя посуда, она мысленно подыскивала, по ее мнению, наиболее убедительные доводы, думала даже о том, чтобы о решении Натальи поставить в известность старика и при его помощи отгово-

рить от неразумного поступка взбесившуюся с горя сноху, но, пока она управлялась с делами, Наталья тихонько собралась и ушла.

— Где Наталья? — спросила Ильинична у Дуняшки.

— Собрала какой-то узелок и ушла.

— Куда? Чего она говорила? Какой узелок?

— Да почему я знаю, маманя? Положила в платок чистую юбку, ишо что-то и пошла, ничего не сказала.

— Головушка горькая! — Ильинична, к удивлению Дуняшки, беспомощно заплакала, села на лавку.

— Вы чего, маманя? Господь с вами, чего вы плачете?

— Отвяжись, настырная! Не твое дело! Чего она говорила-то? И чего же ты мне не сказала, как она собиралась?

Дуняшка с досадою ответила:

— Чистая беда с вами! Да откуда же я знала, что мне надо было вам об этом говорить? Не навовсе же она ушла? Должно быть, к матери в гости направилась, — и чего вы плачете, в ум не возьму!

С величайшей тревогой Ильинична ждала возвращения Натальи. Старику решила не говорить, боясь попреков и нареканий.

На закате солнца со степи пришел табун. Спустились куцые летние сумерки. По хутору зажглись редкие огни, а Натальи все не было. В мелеховском курене сели вечерять. Побледневшая от волнения Ильинична подала на стол лапшу, сдобренную поджаренным на постном масле луком. Старик взял ложку, смел в нее крошки черствого хлеба, ссыпал их в забородатевший рот и, рассеянно оглядев сидевших за столом, спросил:

— Наталья где? Чего к столу не кличете?

— Ее нету, — вполголоса отозвалась Ильинична.

— Где ж она?

— Должно, к матери пошла и заостевалась.

— Долго она гостует. Пора бы порядок знать... — недовольно бормотнул Пантелей Прокофьевич.

Он ел, как всегда, старательно, исто-во; изредка клал на стол вверх доньш-ком ложку, косым, любующимся взгля-дом ожидал сидевшего рядом с ним Мишатку, грубовато говорил: «Повер-нись, чадуношка мой, трошки, дай-ка я тебе губы вытру. Мать у вас — по-блуда, а за вами и догляду нет...». И большой, заскорузлой и черной ладонью вытирал нежные, розовые губенки внука.

Молча довечеряли, встали из-за сто-ла. Пантелей Прокофьевич приказал:

— Тушите огонь. Гасу мало, и нечего его зря переводить.

— Двери запирать? — спросила Ильи-нична.

— Запирай.

— А Наталья?

— Явится — постучит. Может, она до утра будет шляться? Тоже моду взяла... Ты бы ей побольше молчала, старая ведьма! Ишь, надумала по ночам в гости ходить... Вот я ей утром выка-жу. С Дашки придмер взяла...

Ильинична легла, не раздеваясь. С полчася пролежала, молча ворочаясь, вздыхая, и только-что хотела встать и итти к Капитоновне, как под окном по-слышались чьи-то неуверенные, шаркаю-щие шаги. Старуха вскочила с несвой-ственной ей летам живостью, торопливо выбежала в сенцы, открыла дверь.

Бледная, как смерть, Наталья, хватая за перильце, тяжело всходила по крыльцу. Полный месяц ярко освещал ее осунувшееся лицо, ввалившиеся глаза, страдальчески изогнутые брови. Она шла, покачиваясь, как тяжело раненый зверь, и там, где ступала ее нога, оставалось темное кровавое пятно.

Ильинична молча обняла ее, ввела в сенцы. Наталья прислонилась спиной к двери, хрипло прошептала:

— Наши спят? Мама, затрите за мной кровь... Видите — наследила я...

— Что же ты с собою наделала?! — давясь рыданиями, вполголоса восклик-нула Ильинична.

Наталья попробовала улыбнуться, но вместо улыбки жалкая гримаса исказила ее лицо.

— Не шумите, мама, а то наших побудите... Вот я и ослобонилась. Те-

перь у меня душа спокойная... Только уж дюже кровь... Как из резаной, из меня хлышет... Дайте мне руку, мама-ня... Голова у меня кружится.

Ильинична заперла на засов дверь, словно в незнакомом доме, долго шарил дрожащей рукою и никак не могла най-ти в потемках дверную ручку. Ступая на цыпочках, она провела Наталью в боль-шую горницу; разбудила и выслала Ду-няшку, позвала Дарью, зажгла лампу.

Дверь в кухню была открыта, и от-туда слышался размеренный могучий храп Пантелея Прокофьевича; во сне сладко чмокала губами и что-то лепета-ла маленькая Полюшка. Крепок детский ничем не тревожимый сон!

Пока Ильинична взбивала подушку, готовя постель, Наталья присела на лавку, обессиленно положила голову на край стола. Дуняшка хотела было вой-ти в горницу, но Ильинична сурово ска-зала:

— Уйди, бессовестная, и не показы-вайся сюда! Не дело тебе тут нати-раться.

Нахмуренная Дарья взяла мокрую тряпку, ушла в сени. Наталья с трудом подняла голову, сказала:

— Сымите с кровати чистую одежду... Постелите мне дерюжку... Все одно, из-мажу...

— Молчи! — приказала Ильинич-на. — Раздевайся, ложись. Плохо тебе? Может, воды принесть?

— Ослабла я... Принесите мне чи-стую рубаху и воды.

Наталья с усилием встала, неверны-ми шагами подошла к кровати. Тут только Ильинична заметила, что юбка Натальи, напитанная кровью, тяжело обвисает, липнет к ногам. Она с ужа-сом смотрела, как Наталья, будто по-бывав под дождем, нагнулась, выжала подол, начала раздеваться.

— Да ты же кровью изошла! — всхлинула Ильинична.

Наталья раздевалась, закрыв глаза, дыша порывисто и часто. Ильинична глянула на нее и решительно направилась в кухню. С трудом она растолкала Пантелея Прокофьевича, сказала:

— Наталья захворала... Дюже пло-хая, как бы не померла... Зараз же за-

прягай и езжай в станицу за фершалом.

— Выдумашь чертовщину! С чего ей поделалось? Захворала? Поменьше бы по ночам таскалась...

Старуха коротко объяснила, в чем дело. Взбешенный Пантелей Прокофьевич вскочил, — на-ходу застегивая шаровары, пошел в горницу.

— Ах, паскудница! Ах, сукина дочь! Чего удумала, а?! Неволя ее заставила!.. Вот я ей зараз пресочу!..

— Одурел, проклятый?! Куда ты лезешь?.. Не ходи туда, ей не до тебя!.. Детей побудишь! Ступай на баз да скорее запрягай!.. — Ильинична хотела удержать старика, но тот, не слушая, подошел к двери в горницу, пинком распахнул ее.

— Нароботала, чортова дочь! — зарорал он, став на пороге.

— Нельзя! Батя, не входи! Ради Христа, не входи! — пронзительно вскрикнула Наталья, прижимая к груди снятую рубаху.

Чертыхаясь, Пантелей Прокофьевич начал разыскивать зипун, фуражку, упряжь. Он так долго мешкал, что Дуняшка не вытерпела — ворвалась в кухню и со слезами напустилась на отца:

— Езжай скорее! Чего ты роешься, как жук в навозе?! Наташка помирает, а он битый час собирается! Тоже! Отец, называйся! А не хочешь ехать — так и скажи! Сама запрягу и поеду!

— Тю, сдурела! Что ты, с привязу сорвалась? Тебя ишо не слышали, короста липучая! Тоже, на отца шумит, пакость! — Пантелей Прокофьевич замхнулся на девушку зипуном и, вполголоса бормоча проклятия, вышел на баз.

После его отъезда в доме все почувствовали себя свободнее. Дарья замывала полы, ожесточенно передвигая стулья и лавки; Дуняшка, которой после отъезда старика Ильинична разрешила войти в горницу, сидела у изголовья Натальи, поправляла подушку, подавала воду; Ильинична изредка навещалась к спавшим в бокоушке детям и, возвратясь в горницу, подолгу смотрела на Наталью, подперев щеку ладонью, горестно качая головой.

Наталья лежала молча, перекатывая по подушке голову с растрепанными, мокрыми от пота прядями волос. Она истекала кровью. Через каждые полчаса Ильинична бережно приподнимала ее, выгаскивала мокрую, как хлющ, подстилку, стлала новую.

С каждым часом Наталья все больше и больше слабела. Заполночь она открыла глаза, спросила:

— Скоро зачнет светать?

— Что невидно, — успокоила ее старуха, а про себя подумала: «Значит, не выживет! Бойтся, что обеспамятеет и не увидит детей...».

Словно в подтверждение ее догадки, Наталья тихо попросила:

— Маманя, разбудите Мишатку с Полюшкой!..

— Что ты, милушка! К чему их середь ночи будить? Они напужаются, гляючи на тебя, крик подымут... К чему их будить-то?

— Хочу поглядеть на них... Мне плохо.

— Господь с тобой, чего ты гутаришь? Вот зараз отец привезет фершала, и он тебе пособит. Ты бы уснула, болезная, а?

— Какой мне сон! — с легкой досадой в голосе ответила Наталья. И после этого надолго умолкла, дышать стала ровнее.

Ильинична потихоньку вышла на крыльцо, дала волю слезам. С опухшим, красным лицом она вернулась в горницу, когда на востоке чуть забелел рассвет. На скрип двери Наталья открыла глаза, еще раз спросила:

— Скоро рассветнет?

— Рассветает.

— Укройте мне ноги шубой!..

Дуняшка набросила ей на ноги овчинную шубу, поправила с боков теплое одеяло, Наталья поблагодарила взглядом, потом подозвала Ильиничну, сказала:

— Сядьте возле меня, маманя, а ты, Дуняшка, и ты, Дарья, выйдите на час, я хочу с одной маманей погутарить... Ушли они? — спросила Наталья, не открывая глаз.

— Ушли.

— Батя не приехал ишо?

— Скоро приедет. Тебе хужеет, что ли?

— Нет, все одно... Вот что я хотела сказать... Я, маманя, помру вскорости... Чует мое сердце. Сколько из меня крови вышло — страсть! Вы скажите Дашке, чтобы она, как затопит печь, поставила воды побольше... Вы сами обмойте меня, не хочу, чтобы чужие...

— Наталья! Окстись, лапушка моя! Чего ты об смерти заговорила? Бог милостив, очунеешься.

Слабым движением руки Наталья попросила свекровь замолчать, сказала:

— Вы меня не перебивайте... Мне уж и гутарить тяжело, а я хочу сказать... Опять у меня голова кружится... Я вам про воду сказала? А я, значит, сильная... Капитоновна мне давно это сделала, с обеда, как только пришла... Она, бедная, сама напугалась... Ой, много крови из меня вышло... Лишь бы до утра дожить... Воды побольше нагрейте... Хочу чистой быть, как помру... Маманя, вы меня оденьте в зеленую юбку, в энту, какая с прошивкой на оборке... Гриша любил, как я ее надевала... и в поплиновую кофточку... она в сундуке сверху, в правом углу, под шалькой лежит... А ребят пушай уведут, как я кончусь, к нашим... Вы бы послали за матерью, нехай придет зараз... Мне уж надо прощаться... Примите из-под меня. Мокрое все...

Ильинична, поддерживая Наталью под спину, вытащила подстилку, кое-как подсунула новую. Наталья успела шепнуть:

— На бок меня... поверните! — И тотчас потеряла сознание.

В окна глянул голубой рассвет. Дуняшка вымыла цибарку, пошла на баз доить коров. Ильинична распахнула окно — и в горницу, напитанную тяжким запахом свежей крови, запахом сгоревшего керосина, хлынул бодрящий, свежий и резкий холодок летнего утра. На подоконник с вишневых листьев ветер отряхнул слезинки росы; слышались ранние голоса птиц, мычание коров, густые, отрывистые хлопки пастушьего арапника.

Наталья пришла в себя, открыла глаза, кончиком языка облизала сухие,

обескровленные, желтые губы, попросила пить. Она уже не спрашивала ни о детях, ни о матери. Все отходило от нее и, как видно, навсегда...

Ильинична закрыла окно, подошла к кровати. Как страшно переменялась Наталья за одну ночь! Сутки назад была она, как молодая яблоня в цвету, — красивая, здоровая, сильная, а сейчас щеки ее выглядели блее мела с обдонской горы, нос заострился, губы утратили недавнюю яркую свежесть, стали тоньше и, казалось, с трудом прикрывали раздвинутые подковки зубов. Одни глаза Натальи сохранили прежний блеск, но выражение их было уже иное. Что-то новое, незнакомое и пугающее проглядывало во взгляде Натальи, когда она изредка, повинувшись какой-то необъяснимой потребности, приподнимала синеватые веки и обводила глазами горницу, на секунду останавливая их на Ильиничне...

На восходе солнца приехал Пантелей Прокофьевич. Заспанный фельдшер, усталый от бессонных ночей и бесконечной возни с тифозными и ранеными, потягиваясь, вылез из тарантаса, взял с сиденья сверток, пошел в дом. Он снял на крыльце брезентовый дождевик, — перегнувшись через перила, долго мылил волосатые руки, исподлобья поглядывая на Дуняшку, лившую ему в пригоршню воду из кувшина, и даже два подмигнул ей. Потом вошел в горницу и минут десять пробыл около Натальи, предварительно выслав всех из комнаты.

Пантелей Прокофьевич и Ильинична сидели в кухне.

— Ну, что? — шопотом справился старик, как только они вышли из горницы.

— Плохая...

— Это она самовольно?

— Сама надумала... — уклонилась Ильинична от прямого ответа.

— Горячей воды, быстро! — приказал фельдшер, высунув в дверь взлохмаченную голову.

Пока кипятили воду, фельдшер вышел в кухню. На немой вопрос старика безнадежно махнул рукою.



— К обеду отойдет. Страшная потеря крови. Ничего нельзя сделать! Григория Пантелеевича не известили?

Пантелей Прокофьевич, не отвечая, торопливо захромал в сенцы. Дарья видела, как старик, зайдя под навесом сарая за косилку и припав головой к прикладку прошлогодних кизеков, плакал навзрыд...

Фельдшер пробыл еще с полчаса, посидел на крыльце, подремал под лучами восходящего солнца, потом, когда вскипел самовар, снова пошел в горницу, впрыснул Наталье камфары, вышел и попросил молока. С трудом подавляя зевоту, выпил два стакана, сказал:

— Вы меня отвезите сейчас. У меня в станице больные и раненые, да и быть мне тут не к чему. Все бесполезно. Я бы с дорогой душою послужил Григорию Пантелеевичу, но говорю честно: помочь не могу. Наше дело маленькое — мы только больных лечим, а мертвых воскрешать еще не научились. А вашу бабочку так разделили, что ей и жить не с чем... Матка изорвана, прямо-таки живого места нет. Как видно, железным крючком старуха орудовала. Темнота наша, ничего не попишешь!

Пантелей Прокофьевич подкинул в тарантас сена, сказал Дарье:

— Ты отвезешь. Не забудь кобылу напоить, как спустишься к Дону.

Он предложил было фельдшеру денег, но тот решительно отказался, пристыдил старика:

— Совестно тебе, Пантелей Прокофьевич, и говорить-то об этом. Свои люди, а ты с деньгами лезешь. Нет-нет, и близко не подходи с ними! Чем отблагодарить? Об этом и толковать нечего! Кабы я ее, сноху вашу, на ноги поднял, — тогда другое дело.

Утром, часов около шести, Наталья почувствовала себя значительно лучше. Она попросила умыться, причесала волосы перед зеркалом, которое держала Дуняшка, и, оглядывая родных как-то по-новому сияющими глазами, с трудом улыбулась:

— Ну, теперь я пошла на поправку! А я уж испугалась... Думала — все мне, концы... Да что это ребята так

долго спят? Поди, глянь, Дуняшка: не проснулись они?

Пришла Лукинична с Грипашкой. Старуха заплакала, глянув на дочь, но Наталья взволнованно и часто заговорила:

— Чего вы, маманя, плачете? Не такая уж я плохая... Вы меня не хоронить же пришли? Ну, на самом деле, чего вы плачете?

Грипашка незаметно толкнула мать, и та, догадавшись, проворно вытерла глаза, успокаивающе сказала:

— Что ты, дочушка, это я так, сдуру слезу сронила. Сердце защемило, как глянула на тебя... Уж дюже ты переменялась...

Легкий румянец заиграл на щеках Натальи, когда она услышала мишаткин голос и смех Полюшки.

— Кличьте их сюда! Кличьте скорее!.. — просила она. — Нехай они потом оденутся!..

Полюшка вошла первая, на пороге остановилась, кулачком протирая заспанные глаза.

— Захворала твоя маманька... — с улыбкой проговорила Наталья. — Подойди ко мне, жаль моя!

Полюшка с удивлением рассматривала чинно сидевших на лавках взрослых, — подойдя к матери, огорченно спросила:

— Чего ты меня не разбудила? И чего они все собрались?

— Они пришли меня проведать... А тебя я к чему же будила бы?

— Я б тебе воды принесла, посидела бы возле тебя...

— Ну, ступай, умойся, причешишь. помолись богу, а потом прийдешь, посидишь со мной.

— А завтракать ты встанешь?

— Не знаю. Должно быть, нет.

— Ну, тогда я тебе сюда принесу, ладно, маманюшка?

— Истый батя, только сердцем не в него, помягче... — со слабой улыбкой сказала Наталья, откинув голову и зябко натягивая на ноги одеяло.

Через час Наталья стало хуже. Она поманила пальцем к себе детей, обняла их, перекрестила, поцеловала и попросила мать, чтобы та увела их к себе.

Лукинична поручила отвести ребятишек Грипашке, сама осталась около дочери.

Наталья закрыла глаза, сказала, как бы в забытьи:

— Так я его и не увижу... — Потом, словно что-то вспомнив, резко приподнялась на кровати. — Верните Мишатку!

Заплаканная Грипашка втолкнула мальчика в горницу, сама осталась на кухне, чуть слышно причитая.

Угрюмоватый, с неласковым мелеховским взглядом, Мишатка несмело подошел к кровати. Резкая перемена, происшедшая с лицом матери, делала мать почти незнакомой, чужой. Наталья протянула сынишку к себе, почувствовала, как быстро, будто у пойманного воробья, колотится маленькое мишаткино сердце.

— Нагнись ко мне, сынок! Ближе! — попросила Наталья.

Она что-то зашептала Мишатке на ухо, потом отстранила его, пытливо посмотрела в глаза, сжала задрожавшие губы и, с усилием улыбнувшись жалкой, вымученной улыбкой, спросила:

— Не забудешь? Скажешь?

— Не забуду... — Мишатка схватил указательный палец матери, стиснул его в горячем кулачке, с минуту подержал и выпустил. От кровати пошел он, почему-то ступая на дыпочках, балансируя руками...

Наталья до дверей проводила его взглядом и молча повернулась к стене.

В полдень она умерла.

## ГЛАВА XVII

Многое передумал и вспомнил Григорий за двое суток пути от фронта до родного хутора... Чтобы не оставаться в степи одному со своим горем, с неотступными мыслями о Наталье, он взял с собою Прохора Зыкова. Как только выехали с места стоянки сотни, Григорий завел разговор о войне, вспомнил, как служил в 12-м полку на Австрийском фронте, как ходили в Румынию, как бились с немцами. Говорил он без умолку, вспоминал всякие потешные

истории, происходившие с их однополчанами, смеялся...

Простоватый Прохор вначале недоуменно косился на Григория, дивясь его необычайной разговорчивости, а потом все же догадался, что Григорий воспоминаниями о давнишних днях хочет отвлечь себя от тяжелых думок, — и стал поддерживать разговор и, быть может, даже с излишним старанием. Со всеми подробностями рассказывая о том, как пришлось ему когда-то лежать в Черниговском госпитале, Прохор случайно взглянул на Григория, увидел, как по смуглым щекам его обильно текут слезы... Из скромности Прохор приотстал на несколько сажен, с полчаса ехал сзади, а потом снова поровнялся, попробовал было заговорить о чем-то постороннем, пустяковом по значимости, но Григорий в разговор не вступил. Так они до полудня и рысили, молча, рядом, стремя к стremени.

Григорий спешил отчаянно. Несмотря на жару, он пускал своего коня то крупной рысью, то наметом и лишь изредка переводил его на шаг. Только в полдень, когда отвесно падающие лучи солнца начали палить нестерпимо, Григорий остановился в балке, расседлал коня, пустил его на попас, а сам ушел в холодок, лег ничком — и так лежал до тех пор, пока не спала жара. Раз они покормили лошадей овсом, но положенного на выкормку времени Григорий не соблюдал. Даже их — привычные к большим пробегам — лошади к концу первых суток резко исхудали, шли уже не с той неутомимой резвостью, как вначале. «Этак нехитро и погубить коней. Кто так ездит? Ему хорошо, чорту, он своего загонит и в любой момент себе другого под седло достанет, а я откуда возьму? Доскачется, дьявол, что придется до самого Татарского из такой дали пеши пороть либо на обывательских тянуть!» — раздраженно думал Прохор.

На утро следующего дня возле одного из хуторов Федосеевской станицы он не стерпел, сказал, обращаясь к Григорию:

— Скажи, как ты хозяином сроду не был... Ну, кто так, без роздыху, и день

и ночь скачет? Ты глянь, как кони перепали. Давай хоть на вечерней зорьке накорим их, как полагается.

— Езжай, не отставай, — рассеянно ответил Григорий.

— Я за тобой не угонюсь, мой уж пристаёт. Может, отдохнем?

Григорий промолчал. С полчаса они рысили, не обменявшись ни словом, потом Прохор решительно заявил:

— Давай же дадим им хоть трошки сайнуть! Я дальше так не поеду! Слышишь?

— Толкай, толкай!

— До каких же пор толкать? Пока копыта откинёт?

— Не разговаривай!

— Помилосердствуй, Григорий Пантелевич! Я не хочу своего коня обдирать, а дело идет к этому...

— Ну, становись, чорт с тобой! Приглядывай, где трава получше.

Телеграмма, блуждавшая в поисках Григория по станицам Хоперского округа, пришла слишком поздно... Григорий приехал домой на третий день после того, как похоронили Наталью. У калитки он спешился, на ходу обнял выбежавшую из дома всхлипывающую Дуняшку, нахмурился, попросил:

— Выводи коня хорошенько... Да не реви! — и повернулся к Прохору: — Езжай домой. Понадобисься — скажу тогда.

Ильинична, держа за руки Мишатку и Полюшку, вышла на крыльцо встречать сына.

Григорий схватил в охапку детишек, дрогнувшим голосом сказал:

— Только не кричать! Только без слез! Милые мои! Стало быть, осиротели? Ну-ну... Ну-ну... Подвела нас мамка...

А сам, с величайшим усилием удерживая рыдания, вошел в дом, поздоровался с отцом.

— Не уберегли... — сказал Пантелей Прокофьевич и тотчас же похромал в сенцы.

Ильинична увела Григория в горницу, долго рассказывала про Наталью.

Старуха не хотела было говорить всего, но Григорий спросил:

— Почему она надумала не родить, ты знаешь?

— Знаю.

— Ну?

— Она перед этим ходила к твоей, к этой... Аксинья ей и рассказала про все...

— Ага... так? — Григорий густо побавровел, опустил глаза.

Из горницы он вышел постаревший и бледный; беззвучно шевеля синеватыми, дрожащими губами, сел к столу, долго ласкал детей, усадив их к себе на колени, потом достал из подсумка серый от пыли кусок сахара, расколочил его на ладони ножом, виновато улыбнулся:

— Вот и весь гостинец вам... Вот какой у вас отец... Ну, бегите на баз, зовите деда.

— На могилку пойдешь? — спросила Ильинична.

— Как-нибудь потом... Мертвые не обижаются... Как Мишатка, Полюшка? Ничего?

— В первый день дюже кричали, особливо Полюшка... Зараз — как уговорились, и не вспоминают об ней при нас, а нынче ночью слышала: Мишатка кричал потихоньку... Залез под подушку головой, чтобы его не слышать было... Я подошла, спрашиваю: «Ты чего, родненький? Может, со мной ляжешь?». А он и говорит: «Ничего, бабуна, это я, должно быть, во сне...». Погутаешь с ними, пожалей их... Вчерась утром, слушаю, гутають в сенцах промеж собой. Полюшка и говорит: «Она вернется к нам. Она — молодая, а молодые навовсе не умирают». Глупые ишо, а сердчишки-то болят, как у больших... Ты голодный, небось? Сем-ка я соберу тебе перекусить чего-нибудь, чего ж молчишь?

Григорий вошел в горницу. Будто впервые попал сюда, он внимательно оглядел стены, остановил взгляд на прибранной, со взбитыми подушками кровати. На ней умерла Наталья, оттуда в последний раз звучал ее голос... Григорий представил, как Наталья прощалась с ребятами, как она их целовала и, быть может, крестила, и снова, как тогда, когда читал телеграмму о

ее смерти, ощутил острую, колющую боль в сердце, глухой звон в ушах.

Каждая мелочь в доме напоминала о Наталье. Воспоминания о ней были неистребимы и мучительны. Григорий зачем-то обошел все комнаты и торопливо вышел, почти выбежал на крыльцо. Боль в сердце становилась все горячее. На лбу у него выступила испарина. Он сошел с крыльца, испуганно прижимая к левой стороне груди ладонь, подумал: «Видно — укатали сивку крутые горки...».

Дуняшка вываживала по двору коня. Около амбара конь, сопротивляясь поводу, остановился, понюхал землю, — вытянув шею и подняв верхнюю губу, ощерил желтые плиты зубов, потом фыркнул и неловко стал подгибать передние ноги. Дуняшка потянула за повод, но конь, не слушаясь, стал ложиться.

— Не давай ложиться! — крикнул из конюшни Пантелей Прокофьевич. — Не видишь — он оседланный! Почему не расседлала, чортова дуреха?!

Неторопливо, все еще прислушиваясь к тому, что делалось у него в груди, Григорий подошел к коню, снял седло, — пересилив себя, улыбнулся Дуняшке:

— Пошумливает отец?

— Как и всегда, — ответно улыбнулась Дуняшка.

— Поводи ишо трошки, сестра.

— Он уж высох, ну да ладно, повою.

— Поваляться дай ему, не препятствуй.

— Ну-ну, братушка... Горюешь?

— А ты думала — как? — задыхаясь, ответил Григорий.

Движимая чувством сострадания, Дуняшка поцеловала его в плечо и, отчего-то смутившись до слез, быстро отвернулась, повела коня к скотиньему базу.

Григорий пошел к отцу. Тот старательно выгребал навоз из конюшни.

— Твоему служивскому помещение готовлю.

— Чего же не сказал? Я бы сам вычистил.

— Выдумал тоже! Что я, аль немощный? Я, брат, как кремневое ружье. Мне износу не будет! Ишо прыгаю по-маленьку. Завтра вот думаю жита ехать косить. Ты надолго приберг?

— На месяц.

— Вот это хорошо! Поедем-ка на поля? В работе оно тебе легче будет...

— Я уж и сам подумал об этом.

Старик бросил вилы, рукавом вытер пот с лица, с сокровенными нотками в голосе сказал:

— Пойдем в курень, пообедаешь. От него, от этого горя, никуда не скроешься... Не набегаяешься и не схоронишься. Должно быть, так...

Ильинична собрала на стол, подала чистый рушник. И опять Григорий подумал: «Бывало, Наталья угощала...». Чтобы не выдать волнения, он проворно стал есть. С чувством признательности взглянул на отца, когда тот принес из кладовой заткнутый пучком сена кувшин с самогоном.

— Помянем покойницу, царство ей небесное, — твердо проговорил Пантелей Прокофьевич.

Они выпили по стакану. Старик немедля налил еще, вздохнул:

— За один год двоих у нас в семье не стало... Прилюбила смерть наш курень.

— Давай об этом не гутарить, батя! — попросил Григорий.

Он выпил второй стакан залпом, долго жевал кусок вяленой рыбы, все ждал, когда хмель ударит в голову, заглушит неотвязные мысли.

— Жита нонешний год хороши! А наш посев от других прямо отменить! — хвастливо сказал Пантелей Прокофьевич. И в этой хвастливости, в тоне, каким было сказано, уловил Григорий что-то наигранное, нарочитое.

— А пшеница?

— Пшеница? Трошки прихваченная, а так — ничего, пудов на тридцать пять, на сорок. Гарновка, ох да и хороша ж вышла у людей, а нам, как на грех, не пришлось ее посеять. Но я дюже не жалкую! В такую разруху куда его, хлеб, девать? К Парамонову не повезешь, а в закромах не удержишь. Как

пододвинется фронт — товарищи все выметут, как вылизут. Но ты не думай, у нас и без нынешнего урожая года на два хлеба хватит. У нас, слава богу, и в закромах его по ноздри, да ишо кое-где есть... — Старик лукаво подмигнул, сказал: — Спроси у Дашки, сколько мы его прихоронили про черный день! Яму в твой рост да в полтора маховых ширины — доверху набухали! Нас эта проклятая жизнь трошки прибибдила, а то ить мы тоже хозяевами были... — Старик пьяно засмеялся своей шутке, но спустя немного с достоинством расправил бороду и уже деловито и серьезно сказал: — Может, ты об теще чего думаешь, так я тебе скажу так: ее я не забыл и нужде ихней помог. Не успела она как-то и словом заикнуться, а я на другой день воз хлеба, не мерявши, насыпал и отвез. Покойница Наталья была дуже довольная, аж слезьми ее прошибло, как узнала про это... Давай, сынок, по третьей дернем? Только у меня и радости осталось, что ты!

— Что ж, давай, — согласился Григорий, подставляя стакан.

В это время к столу несмело, бочком подошел Мишатка. Он вскарабкался отцу на колени и, неловко обнимая его за шею левой рукой, крепко поцеловал в губы.

— Ты чего это, сынок? — растроганно спросил Григорий, заглядывая в затуманенные слезами детские глаза, сдерживаясь, чтобы не дохнуть в лицо сынишки самогонной вонью.

Мишатка негромко ответил:

— Маманька, когда лежала в горнице... когда она ишо живая была, подозвала меня и велела сказать тебе так: «Приедет отец — поцелуй его за меня и скажи ему, чтобы он жалел вас». Она ишо что-то говорила, да я позабыла...

Григорий поставил стакан, отвернулся к окну. В комнате долго стояла тягостная тишина.

— Выпьем? — негромко спросил Пантелей Прокофьевич.

— Не хочу. — Григорий ссадил с колен сынишку, встал, поспешно направился в сенцы.

— Погоди, сынок, а — мясо? У нас — курица вареная, блинцы! — Ильинична метнулась к печке, но Григорий уже хлопнул дверью.

Бесцельно бродя по двору, он осмотрел скотиний баз, конюшню; глядя на коня, подумал: «Надо бы искупать его», потом зашел под навес сарая. Около приготовленной к покосу лобогрейки увидел валявшиеся на земле сосновые щепки, стружки, косой обрезок доски. «Гроб Наталье отец делал» — решил Григорий. И торопливо зашагал к крыльцу.

Уступая настояниям сына, Пантелей Прокофьевич наскоро собрался, запряг в косилку лошадей, взял боченок с водой; вместе с Григорием они в ночь уехали в поле.

## ГЛАВА XVIII

Григорий страдал не только потому, что по-своему он любил Наталью и свылся с ней за шесть лет, прожитых вместе, но и потому, что чувствовал себя виновным в ее смерти. Если бы при жизни Наталья осуществила свою угрозу — взяла детей и ушла жить к матери; если бы она умерла там, ожесточенная в ненависти к неверному мужу и непримирившаяся, Григорий, пожалуй, не с такой силой испытывал бы тяжесть утраты, и уж, наверное, раскаяние не терзало бы его столь яростно. Но со слов Ильиничны он знал, что Наталья простила ему все, что она любила его и вспоминала о нем до последней минуты. Это увеличивало его страдания, отягчало совесть немолкнущим укором, заставляло по-новому осмысливать прошлое и свое поведение в нем...

Было время, когда Григорий ничего не питал к жене, кроме холодного безразличия и даже неприязни, но за последние годы он стал иначе относиться к ней, и основной причиной перемены, происшедшей в его отношении к Наталье, были дети.

Вначале и к ним Григорий не испытывал того глубокого отцовского чувства, которое возникло в нем за послед-

нее время. На короткий срок приезжая с фронта домой, он пестал и ласкал их, как бы по обязанности и чтобы сделать приятное матери, сам же не только не ощущал в этом какой-то потребности, но не мог без недоверчивого удивления смотреть на Наталью, на бурные проявления ее материнских чувств. Он не понимал, как можно было так само-забвенно любить эти крохотные крикливые существа, и не раз по ночам с досадой и насмешкой говорил жене, когда она еще кормила детей грудью: «Чего ты вскакиваешь, как бешеная? Не успеет крикнуть, а ты уж на ногах. Ну, нехай, надуетя, покричит, небось золотая слеза не выскочит!». Дети относились к нему с не меньшим равнодушием, но по мере того, как они росли, — росла и их привязанность к отцу. Детская любовь возбудила и у Григория ответное чувство, и это чувство, как огонек, перебралось на Наталью.

После разрыва с Аксиньей Григорий никогда не думал всерьез о том, чтобы разойтись с женой; никогда, даже вновь сойдясь с Аксиньей, он не думал, чтобы она когда-нибудь заменила мать его детям. Он не прочь был жить с ними с обоими, любя каждую из них по-разному, но, потеряв жену, вдруг почувствовал и к Аксинье какую-то отчужденность, потом глухую злобу за то, что она выдала их отношения и — тем самым — толкнула Наталью на смерть.

Как ни старался Григорий, уехав в поле, забыть о своем горе, — в мыслях он неизбежно возвращался к этому. Он изнурял себя работой, часами не слезая с лобогрейки, и все же вспоминал Наталью; память настойчиво воскрешала давно минувшее, различные, зачастую незначительные эпизоды совместной жизни, разговоры. Стоило на минуту снять узду с услужливой памяти, и перед глазами его вставала живая, улыбающаяся Наталья. Он вспоминал ее фигуру, походку, манеру поправлять волосы, ее улыбку, интонации голоса...

На третий день начали косить ячмень. Григорий, как-то среди дня, когда Пантелей Прокофьевич остановил лошадей, слез с заднего стульца косилки,

положил на полку короткие вилы, сказал:

— Хочу, батя, поехать домой на час.

— Зачем?

— Что-то соскучился по ребятишкам...

— Что ж, поезжай, — охотно согласился старик. — А мы тем временем будем копнить.

Григорий тотчас же выпряг из косилки своего коня, сел на него и шагом поехал по желтой щетинистой стерне к шляху. «Скажи ему, чтобы жалел вас!» — звучал в ушах его натальин голос. Григорий закрывал глаза, бросал поводья и, погруженный в воспоминания, предоставлял коню итти бездорожно.

В густосинем небе почти недвижно стояли раскиданные ветром редкие облака. По стерне враскачку ходили грачи. Они семьями сидели на копнах; старые из клюва в клюв кормили молодых, только недавно оперившихся и еще неуверенно поднимающихся на крыло. Над скошенными десятинами стон стоял от грачиного крика.

Конь Григория норовил итти по обочине дороги, изредка на-ходу срывал ветку донника, жевал ее, гремя удилами. Раза два он останавливался, ржал, завидя вдали лошадей, и тогда Григорий, очнувшись, понукал его, невидящим взором оглядывая степь, пыльную дорогу, желтую россыпь копен, зеленоватобурные делянки взывающего проса.

Как только Григорий приехал домой, явился Христоня, мрачный с виду и одетый, несмотря на жару, в суконный английский френч и широкие бриджи. Он пришел, опираясь на огромную свежеструганную ясеневую палку, поздоровался.

— Проведать пришел. Прослышал про ваше горе. Похоронили, стал-быть, Наталью Мироновну?

— Ты каким путем с фронта? — спросил Григорий, сделав вид, будто не слышал вопроса, с удовольствием рассматривая нескладную, несколько согбенную фигуру Христони.

— После ранения на поправку пустили. Скобленули меня поперек пуза доразу две пули. И до се там, возле ки-

шок, сидят, застряли, стал-быть, проклятые. Через это я и при костыле нахожусь, видишь?

— Где же это тебя попортили?

— Под Балашовым.

— Взяли его? Как же тебя зацепило?

— В атаку шли. Балашов, стал-быть, забрали и Поворино. Я забирал.

— Ну, расскажи, с кем ты, в какой части, кто с тобой из хуторных? Присаживайся, вот табак.

Григорий обрадовался новому человеку, возможности поговорить о чем-то постороннем, что не касалось его переживаний. Христоня проявил некоторую сообразительность, догадавшись, что в его сочувствии Григорий не нуждается, и стал охотно, но медлительно рассказывать о взятии Балашова, о своем ранении. Дымя огромной цыгаркой, он густо басил:

— Шли в пешем строю по подсолнухам. Они били, стал-быть, из пулеметов и из орудий, ну, и из винтовок, само собой. Человек я из себя приметный, иду в цепи, как гусак промеж курей, как ни пригинался, а все меня видно, ну, они, пули-то, меня и нашли. Да ить это хорошо, что я ростом вышел, а будь пониже — аккурат в голову бы угодили! Были они, стал-быть, наизлете, но вдарили так, что ажник в животе у меня все забурчало, и каждая горячая, чорт, как, скажи, из печки вылетела... Лапнул рукой по этому месту, чую — во мне они сидят, катаются под кожей, как жировики, на четверть одна от другой. Ну, я их помял пальцами и упал, стал-быть. Думаю: шутки дурные, к едреной матери с такими шутками! Лучше уж лежать, а то другая прилетит, какая порезвей, и наскрозь пронижет. Ну, и лежу, стал-быть. Нет-нет, да и потрогаю их, пули-то. Они все там, одна вблизи другой. Ну, я и испужался, думаю: что как они, подлюки, в живот провалятся, тогда что? Будут там промеж кишков кататься, как их доктора разыщут? Да и мне радости мало. А тело у человека, хотя бы и у меня, жидкое, побредут пульки-то до главной кишки — и ходи тогда, греми ими, как почтарский громышок. Полное нарушение

получится. Лежу, шляпку подсолнуха открутил, семечки ем, а самому страшно. Цепь наша ушла. Ну, как взял этот Балашов, и я туда прикомандировался. В Тишанской в лазарете лежал. Доктор там такой, стал-быть, шустрый, как воробей. Все упрашивал: «Давай пули вырежем?». А я сам себе на уме... Спросил: «Могут они, ваше благородие, в нутро провалиться?». «Нет, говорит, не могут». Ну, тогда, думаю, не дамся их вырезать! Знаю я эти шутки! Вырежут, не успеет рубец затянуться — и опять иди в часть. «Нет, говорю, ваше благородие, не дамся. Мне с ними даже интереснее. Хочу их домой понести, жене показать, а они мне не препятствуют, не велика тяжесть». Обругал он меня, а на побывку пустил, на неделю.

Улыбаясь, Григорий выслушал бесхитростное повествование, спросил:

— Ты куда попал, в какой полк?

— В четвертый сводный.

— Кто из хуторных с тобой?

— Наших там много: Аникушка Скопец, Бесхлебнов, Коловейдин Аким, Мирошников Семка, Горбачев Тихон.

— Ну, как казачки? Не жалуются?

— Обижаются на офицеров, стал-быть. Таких сволочей понасажали, житя нету. И почти все — русские, казачков нету.

Христоня, рассказывая, натягивал короткие рукава френча и, словно не веря своим глазам, удивленно рассматривал и гладил на коленях добротное, ворсистое сукно английских штанов.

— А ботинок, стал-быть, на мою ногу не нашлось, — раздумчиво говорил он. — В английской державе, под иными людьми, таких ядреных ног нету... Мы же пшаницу сеем и едим, а там, небось, как и в России, на одном жите сидят. Откель же им такие ноги иметь? Всю сотню одели, обули, пахучих папиросов прислали, а все одно — плохо...

— Что плохо? — поинтересовался Григорий.

Христоня улыбнулся, сказал:

— Снаружи хорошо, в середке плохо. Знаешь, опять казаки не хотят воевать. Стал-быть, ничего из этой войны



не выйдет. Гутарили так, что дальше Хоперского округа не пойдут...

Проводив Христоню, Григорий после короткого размышления решил: «Пожи-ву с неделю и уеду на фронт. Тут с то-ски пропадешь». До вечера он был до-ма. Вспомнил детство и смастерил Ми-шатке ветряную мельницу из камыши-нок, ссучил из конского волоса силки для ловли воробьев, дочери искусно сде-лал крохотную коляску с вращающимися колесами и причудливо изукрашен-ным дышлом, пробовал даже свернуть из лоскутков куклу, но тут у него ни-чего не вышло; кукла была сделана при помощи Дуняшки.

Дети, к которым Григорий никогда прежде не проявлял такого внимания, вначале отнеслись к его затеям с недо-верием; но потом уже ни на минуту не отходили от него, и под вечер, когда Григорий собрался ехать в поле, Ми-шатка, сдерживая слезы, заявил:

— Ты сроду такой! Приедешь на-час и опять нас бросаешь... Забери с собой и осилки, и мельницу, и трещет-ку, все забери! Мне не нужно!

Григорий взял в свои большие руки маленькие ручонки сына, сказал:

— Ежли так — давай решим: ты — казак, вот и поедем со мной на поля: будем ячень косить, копнить, на ко-силке будешь с дедом сидеть, коней бу-дешь погонять. Сколько там кузнецов в траве! Сколько разных птах в баера-ке! А Полюшка останется с бабкой до-моседовать. Она на нас в обиде не бу-дет. Ее, девичье, дело — полы подме-тать, воду бабке носить из Дону в ма-ленькой ведрушенке, да мало ли у них всяких бабьих делов? Согласный?

— А то нет! — с восторгом восклик-нул Мишатка. У него даже глаза забле-стели от предвкушаемого удовольствия.

Ильинична было воспротивилась.

— Куда ты его повезешь? Выду-маешь, чума его знает что! А спать где он будет? И кто за ним будет наглядыв-вать. Упаси бог, либо к лошадям подой-дет — вдарят, либо змея укусит. Не ездий с отцом, милушка, оставайся до-ма! — обратилась она к внуку.

Но у того вдруг зловеще вспыхнули сужившиеся глаза (точь-в-точь, как у

деда Пантелея, когда он приходил в ярость), сжались кулачки, и высоким, плачущим голосом он крикнул:

— Бабка, молчи!.. Все одно поеду! Батянюшка, родненький, не слухай ее!..

Смеясь, Григорий взял сына на руки, успокоил мать:

— Спать он будет со мной. Отско-да поедем шагом, не уроню же я его. Готовь ему, мамаша, одежду и не бойсь — сохрани в целости, а завтра к ночи при-везу.

Так началась дружба между Григо-рием и Мишаткой.

За две недели, проведенных в Татар-ском, Григорий только три раза, и то мельком, видел Аксинью. Она с прису-щим ей умом и тактом избегала встреч, понимая, что лучше ей не попадаться Григорию на глаза. Женским чутьем она распознала его настроение, сообразила, что всякое неосторожное и несвоевре-менное проявление ее чувств к нему может вооружить его против нее, ки-нуть какое-то пятно на их взаимоотно-шения. Она ждала, когда Григорий сам заговорит с ней. Это случилось за день до его отъезда на фронт. Он ехал с по-ля с возом хлеба, припозднился, в су-мерках около крайнего в степи проулка встретил Аксинью. Она издали покло-нилась, чуть приметно улыбнулась. Улыбка ее была выжидающей и тревож-ной. Григорий ответил на поклон, но разминуться молча не смог.

— Как живешь? — спросил он, не-заметно натягивая вожжи, умеряя лег-кий шаг лошадей.

— Ничего, спасибо, Григорий Панте-леевич.

— Что это тебя не видно?

— На полях была... Бьюсь одна с хо-зяйством.

Вместе с Григорием на возу сидел Мишатка. Может быть, поэтому Гри-горий не остановил лошадей, не стал больше занимать Аксинью разговором. Он отъехал несколько сажень, обернулся, услышав оклик. Аксинья стояла около плетня.

— Долго пробудешь в хуторе? — спросила она, взволнованно ошпыгывая лепестки сорванной ромашки.

— Днями уеду.

По тому, как Аксинья на секунду замаялась, было видно, что она хотела еще что-то спросить. Но почему-то не спросила, махнула рукой и торопливо пошла на выгон, ни разу не оглянувшись.

## ГЛАВА XIX

Небо заволокло тучами. Накрапывал мелкий, будто сквозь сито сеянный, дождь. Молодая отава, бурьяны, раскиданные по степи кусты дикого терна блестели.

Крайне огорченный преждевременным отъездом из хутора, Прохор ехал молча, за всю дорогу ни разу не заговорил с Григорием. За хутором Севастьяновским повстречались им трое конных казаков. Они ехали в ряд, поталкивая каблуками лошадей, оживленно разговаривая. Один из них, пожилой и рыжебородый, одетый в серый домотканый зипун, издали угадал Григория, громко сказал спутникам: «А ить это — Мелехов, братушки!» — и, поровнявшись, придержал рослого гнедого коня.

— Здорово живешь, Григорий Пантелевич! — приветствовал он Григория.

— Здравствуй! — ответил Григорий, тщетно пытаясь вспомнить, где он встречался с этим рыжебородым, мрачным на вид казаком.

Его, как видно, недавно произвели в подхорунжие, и он, чтобы не сойти за простого казака, нашил новенькие погоны прямо на зипун.

— Не угадаешь? — спросил он, подезжая вплотную, протягивая широкую, покрытую огненно-красными волосами руку, крепко дыша запахом водочного перегара. Тупое самодовольство сияло на лице новоиспеченного подхорунжего, крохотные голубые глазки его искрились, под рыжими усами губы расплывались в улыбку. Нелепый вид зипунного офицера развеселил Григория. Не скрывая насмешки, он ответил:

— Не угадаю. Видать, я встречался с тобой, когда ты был ишо рядовым... Тебя недавно произвели в подхорунжие?

— В самый раз попал! С неделю, как произвели. А встречались мы с тобой

у Кудинова в штабе, кажись — под благовещение. Ты меня тогда из одной беды выручил, вспомни-ка! Эй, Трифон! Езжайте поманеньку, я догоню! — крикнул бородач приостановившимся неподалеку казакам.

Григорий с трудом припомнил, при каких обстоятельствах виделся с рыжим подхорунжим, вспомнил и кличку его: «Семак!», и отзыв о нем Кудинова: «Стреляет, проклятый, без промаху! Зайцев на-бегу из винтовки бьет, и в бою лихой, и разведчик хороший, а умом — малое дите». Семак, в восстание командую сотней, совершил какой-то проступок, за который Кудинов хотел с ним расправиться, но Григорий вступился, и Семак был помилован и оставлен на должности командира сотни.

— С фронта? — спросил Григорий.

— Так точно, в отпуск еду из-под Новохоперска. Чудок, верст полтораста кругу дал, заезжал в Слащевскую, там у меня — сродствие. Я добро помню, Григорий Пантелевич! Не откажи в милости, хочу угостить тебя, а? Везу в сумках две бутылки чистого спирту, давай их зараз разопьем?

Григорий отказался наотрез, но бутылку спирта, предложенную в подарок, взял.

— Что там было! Казачки и офицеры огрузились добром! — хвастливо рассказывал Семак. — Я и в Балашове побывал. Взяли мы его и кинулись перво-наперво к железной дороге, там полно стояло составов, все путя были забитые. В одном вагоне — сахар, в другом — обмундирование, в третьем — разное имущество. Иные из казаков по сорок комплектов одежды взяли! А потом, как пошли жидов тресть, — смех! Из моей полусотни один ловкач по жидам восемнадцать штук карманных часов насобирал, из них десять золотых; навешал, сукин кот, на грудях, ну прямо самый что ни на есть богатейший купец! А перстней и колец у него оказалось — не счесть! На каждом пальце по два да по три...

Григорий указал на раздутые переметные сумки Семака, спросил:

— А у тебя что это?

— Так... Разная разность.

— Тоже наградил?

— Ну, ты уж скажешь — награбил... Не награбил, а добыл по закону. Наш командир полка так сказал: «Возьмете город — на двое суток он в вашем распоряжении!». Что же я — хуже других? Брал казенное, что под руку попадалось... Другие хуже делали.

— Хороши вояки! — Григорий с отвращением оглядел добычливого подхорунжего, сказал: — С такими подобными, как ты, на большой дороге, под мостами сидеть, а не воевать! Грабильную из войны учинили! Эх вы, сволочи! Новое рукоделие приобрели! А ты думаешь, за это когда-нибудь не спустят шкуры и с вас, и с вашего полковника?

— За что же это?

— За это самое!

— Кто же это может спустить?

— Кто чином повыше.

Семак насмешливо улыбнулся, сказал:

— Да они сами такие-то! Мы хучь в сумках везем да на повозках, а они цельными обозами отправляют.

— А ты видал?

— Скажешь тоже — видал! Сам сопровождал такой обоз до Ярыженской. Одной серебряной посуды, чашков, ложек был полный воз! Кое-какие из офицеров налетывали: «Чего везете? А ну, показывай!». Как скажу, что это — личное имущество генерала такого-то, так и отъедут ни с чем.

— Чей же это генерал? — шурясь и нервно перебирая поводья, спросил Григорий.

Семак хитро улыбнулся, ответил:

— Позабыл его фамилию... Чей же он, дай бог памяти? Нет, замстило, не вспомню! Да ты зря ругаешься, Григорий Пантелевич! Истинная правда, все так делают! Я ишо промежду других, как ягнок супротив волка; я легочко брал, а другие телешили людей прямо середь улицы, жидовок сильничали прямо направо! Я этими делами не занимался, у меня своя законная баба есть, да какая баба-то: прямо жеребец, а не баба! Нет-нет, это ты зря на меня сердце поймел. Погоди, куда же ты?

Григорий кивком головы холодно попрощался с Семаком, сказал Прохору:

— Трогай за мной! — и пустил коня рысью.

По пути все чаще попадались одиночками и группами ехавшие в отпуск казаки. Нередко встречались пароконные подводы. Груз на них был прикрыт брезентами или ряднами, заботливо увязан. Позади подвод, привстав на стременах, рысили казаки, одетые в новенькие летние гимнастерки, в красноармейские, защитного цвета, штаны. Залыненные, загорелые лица казаков были оживлены, веселы, но, встречаясь с Григорием, служивые старались поскорее разминуться, проезжали молча, как по команде поднося руки к козырькам фуражек, и заговаривали снова между собой, лишь отъехав на почтительное расстояние.

— Купцы едут! — насмешливо говорил Прохор, издали увидав конных, сопровождавших подводу с награбленным имуществом.

Впрочем, не все ехали на побывку, обремененные добычей. На одном из хуторов, остановившись возле колодезя, чтобы напоить коней, Григорий услышал доносившуюся из соседнего двора песню. Пели, судя по ребячески чистым, хорощим голосам, молодые казаки.

— Служивого, должно, провожают, — сказал Прохор, зачерпывая ведром воды. После выпитой накануне бутылки спирта он не прочь был похмелиться, поэтому, поспешно напив коней, посмеиваясь, предложил:

— А что, Пантелеич, не пойтить ли нам туда? Может, на проводах и нам перепадет по стремянной? Курень хотя и камышом крытый, но, видно, богатый.

Григорий согласился пойти, взглянуть, как провожают «кугаря»<sup>1</sup>. Привязав коней к плетню, они с Прохором вошли во двор. Под навесом сарая у круглых яслей стояли четыре оседланных лошади. Из амбара вышел подросток с железной мерой, доверху насыпанной овсом. Он мельком взглянул на Григория, пошел к заржавшим лошадям. За углом куреня разливалась пес-

<sup>1</sup> Молодой казак.

ня. Дрожащий, высокий тенорок выводит:

Как по той-то было по дороженьке  
Никто пеш не хаживал...

Густой, прокуренный бас, повторив последние слова, сомкнулся с тенором, потом вступили новые слаженные голоса, и песня потекла величаво, раздольно и грустно. Григорию не захотелось своим появлением прерывать песенников; он тронул Прохора за рукав, шепнул:

— Погоди, не показывайся, нехай доиграют.

— Это — не проводы. Еланские так играют. Это они так запеснячивают. А здорово, черти, тянут! — одобрительно отозвался Прохор и огорченно сплюнул: расчет на то, чтобы выпить, судя по всему, не оправдался.

Ласковый тенорок до конца рассказал в песне про участь оплошавшего на войне казака:

Ни пешего, ни конного следа допрежь не было.  
Проходил по дороженьке казачий полк.  
За полком-то бежит душа — добрый конь.  
Он черкесское седельце на боку несет.  
А тесманная уздечка на правом ухе висит,  
Шелковы поводьяца ноги путают.  
За ним гонит млад донской казак,  
Он кричит-то своему коню верному:  
«Ты постой, погоди, душа — верный конь,  
Не покинь ты меня одиокого.  
Без тебя не уйтить от чеченцев злых...».

Очарованный пением, Григорий стоял, привалившись спиной к беленому фундаменту куреня, не слыша ни конского ржанья, ни скрипа проезжавшей по проулку арбы...

За углом кто-то из песенников, кончив песню, кашлянул, сказал:

— Не так играли, как оторвали! Ну, да ладно, как умеем, так можем. А вы бы, бабушки, служилым на дорогу ишо чего-нибудь дали. Поели мы хорошо, спаси христос, да вот на дорогу у нас с собой никаких харчишек нету...

Григорий очнулся от раздумья, вышел из-за угла. На нижней ступеньке крыльца сидели четверо молодых казаков; окружив их плотной толпой, стояли набежавшие из соседних дворов бабы, старухи, детишки. Слушательницы, всхлипывая и сморкаясь, вытирали слезы кончиками платков, одна из старух — вы-

сокая и черноглазая, со следами строгой иконописной красоты на увидшем лице — протяжно говорила, когда Григорий подходил к крыльцу:

— Милые вы мои! До чего же вы хорошо да жалостно поете! И, небось, у каждого из вас мать есть, и небось, как вспомнит про сына, что он на войне гибнет, так слезьми и обольется. — Блеснув на поздоровавшегося Григория желтыми белками, она вдруг злобно сказала: — И таких цветков ты, ваше благородие, на смерть водишь? На войне губишь?

— Нас самих, бабушка, губят, — хмуро ответил Григорий.

Казак, смущенные приходом незнакомою офицера, проворно поднялись, отодвигая ногами стоявшие на ступеньках тарелки с остатками пищи, оправляя гимнастерки, винтовочные погоны, портупей. Они пели, даже винтовок не скинув с плеч. Самому старшему из них на вид было не больше двадцати пяти лет.

— Откуда? — спросил Григорий, оглядывая молодые, свежие лица служивых.

— Из части... — нерешительно ответил один из них, курносый, со смешливыми глазами.

— Я спрашиваю — откуда родом, какой станицы? Не здешние?

— Еланские, едем в отпуск, ваше благородие.

По голосу Григорий узнал запевалу, улыбаясь, спросил:

— Ты заводил?

— Я.

— Ну, хорош у тебя голосок! А по какому же случаю вы распелись? С радости, что ли? По вас не видно, чтобы были подпитые.

Высокий, русый парень с лихо зачесанным, седым от пыли чубом, с густым румянцем на смуглых щеках, косясь на старух, смущенно улыбаясь, нехотя ответил:

— Какая там радость... Нужда за нас поет! Так, за здорово живешь, в этих краях не дже кормют, дадут кусок хлеба — и все. Вот мы и приловчились песни играть. Как заиграем, понабегут бабы слушать; мы какую-нибудь жа-

лостную заведем, ну, они растрогаются и несут — какая кусок сала, какая корчажку молока или ишо чего из едогого...

— Мы вроде попов, господин сотник, поем и пожертвования собираем! — сказал запевала, подмигивая товарищам, прижмуря в улыбке смешливые глаза.

Один из казаков вытащил из грудного кармана засаленную бумажку, протянул ее Григорию.

— Вот наше отпускное свидетельство.

— Зачем оно мне?

— Может, сомневаетесь, а мы не дезертиры...

— Это ты будешь показывать, когда с карательным отрядом повстречаетесь, — с досадой сказал Григорий, но перед тем, как уйти, посоветовал все же: — Езжайте ночами, а днем можно перестоять где-нибудь. Бумажка ваша ненадежная, как бы вы с ней не попались... Без печати она?

— У нас в сотне печати нету.

— Ну так, ежели не хотите калмыкам под шомпола ложиться, послушайте моего совета!

Верстах в трех от хутора, не доезжая сажен полтораста до небольшого леса, подступившего к самой дороге, Григорий снова увидел двух конных, ехавших ему навстречу. Они на минуту остановились, вглядываясь, а потом круто свернули в лес.

— Эти без бумажки едут, — рассудил Прохор. — Видал, как они крутнули в лес? И черти их несут днем!

Еще несколько человек, завидев Григория и Прохора, сворачивали с дороги, спешили скрыться. Один пожилой пехотинец-казак, тайком пробиравшийся домой, юркнул в подсолнухи, затаился, как заяц на меже. Проезжая мимо него, Прохор поднялся на стременах, крикнул:

— Эй, земляк, плохо хоронишься! Голову скоронил, а ж... видно! — И с деланной свирепостью вдруг гаркнул: — А ну, вылазь! Показывай документы!

Когда казак вскопчил и, пригибаясь, побежал по подсолнухам, Прохор захотел во все горло, тронул было коня, чтобы скакать вдогонку, но Григорий остановил его.

— Не дури! Ну его к чорту, он и так будет бечь, пока запалится. Как-раз ишо помрет со страху...

— Что ты! Его и с борзыми не догонишь! Он зараз верст на десять наметом пойдет. Видал, как он маханул по подсолнухам! Откуда при таких случаях и резвость у человека берется, даже удивительно мне.

Неодобрительно отзываясь вообще о дезертирах, Прохор говорил:

— Едут-то как, прямо вальками. Как, скажи, их из мешка вытряхнули! Гляди, Пантелевич, как бы в скорости нам с тобой двоим не пришлось фронт держать...

Чем ближе под'езжал Григорий к фронту, тем шире открывалась перед его глазами отвратительная картина разложения Донской армии, разложения, начавшегося как-раз в тот момент, когда, пополненная повстанцами, армия достигла на Северном фронте наибольших успехов. Части ее уже в это время были не только не способны перейти в решительное наступление и сломить сопротивление противника, но и сами не смогли бы выдержать серьезного натиска.

В станицах и селах, где располагались ближние резервы, офицеры беспросыпно пьянствовали; обозы всех разрядов ломались от награбленного и еще не переправленного в тыл имущества; в частях оставалось не больше 60 процентов состава; в отпуска казаки уходили самовольно, и составленные из калмыков рыскавшие по степям карательные отряды не в силах были сдержать волну массового дезертирства. В занятых селах Саратовской губернии казаки держали себя завоевателями на чужой территории: грабили население, насиловали женщин, уничтожали хлебные запасы, резали скот. В армию шли пополнения из зеленой молодежи и стариков пятидесятилетнего возраста. В маршевых сотнях открыто говорили о нежелании воевать, а в частях, которые перебрасывались на Воронежское направление, казаки оказывали прямое неповиновение офицерам. По слухам, участились случаи убийства офицеров на передовых позициях.

Неподалеку от Балашова уже в сумерках Григорий остановился в одной небольшой деревушке на ночевку. 4-я отдельная запасная сотня из казаков старших призывных возрастов и саперная рота Таганрогского полка заняли в деревушке все жилые помещения. Григорию пришлось долго искать места для ночлега. Можно было бы переночевать в поле, как они обычно делали, но к ночи находил дождь, да и Прохор тряся в очередном припадке малярии; требовалось провести ночь где-нибудь под кровлей. На выезде из деревни, около большого обсаженного тополями дома стоял испорченный снарядом броневтомобиль. Проезжая мимо, Григорий прочитал незакрашенную надпись на его зеленой стенке: «Смерть белой сволочи!», и — ниже: «Свирепый». Во дворе у конюшни фыркали лошади, слышались людские голоса; за домом в саду горел костер, над зелеными вершинами деревьев стлался дым; освещенные огнем, около костра двигались фигуры казаков. Ветер нес от костра запах горящей соломки и паленой свиной щетины.

Григорий спешился, пошел в дом.

— Кто тут хозяин? — спросил он, войдя в низкую, полную людьми комнату.

— Я. А вам чего? — Невысокий мужик, прислонившийся к печи, не меняя положения, оглянулся на Григория.

— Разрешите у вас заночевать? Нас двое.

— Нас тут и так, как семечек в арбузе, — недовольно буркнул лежавший на лавке пожилой казак.

— Я бы ничего, да больно густо у нас народу, — как бы оправдываясь, заговорил хозяин.

— Как-нибудь поместимся. Не под дождем же нам ночевать? — настаивал Григорий. — У меня ординарец больной.

Лежавший на лавке казак крикнул, опустил ноги и, всмотревшись в Григория, уже другим тоном сказал:

— Нас, ваше благородие, вместе с хозяевами четырнадцать душ в двух комнатушках, а третью занимает английский офицер с двоим своими ден-

щиками, да окромя ишо один наш офицер с ними.

— Может, у них как устроитесь? — доброжелательно сказал второй казак с густою проседью в бороде, с погонами старшего урядника.

— Нет, я уж лучше тут. Мне места немного надо, на полу лягу, а вас не потесню. — Григорий снял шинель, ладонью пригладил волосы, сел к столу.

Прохор вышел к лошадям.

В соседней комнате, вероятно, слышали разговор. Минут пять спустя вошел маленький, щеголевато одетый поручик.

— Вы ищете ночлега? — обратился он к Григорию и, мельком глянув на его погоны, с любезной улыбкой предложил: — Переходите к нам, в нашу половину, сотник. Я и лейтенант английской армии господин Кэмпбелл просим вас, там вам будет удобнее. Моя фамилия — Щеголов. Ваша? — Он пожал руку Григория, спросил: — Вы с фронта? Ах, из отпуска! Пойдемте, пойдемте! Мы рады будем оказать вам гостеприимство. Вы, вероятно, голодны, а у нас есть чем угостить.

У поручика на френче из превосходного светлого сукна болтался офицерский георгий, прорез на небольшой голове был безукоризнен, сапоги тщательно начищены, от матово-смуглого выбритого лица, от всей его статной фигуры веяло чистотой и устойчивым запахом какого-то цветочного одеколора. В сенях он предупредительно пропустил вперед Григория, сказал:

— Дверь налево. Осторожнее, здесь ящик, не стукнитесь.

Навстречу Григорию поднялся молодой, рослый и плотный лейтенант, с пушистыми черными усиками, прикрывавшими наискось рассеченную верхнюю губу, и близко поставленными серыми глазами. Поручик представил ему Григория, что-то сказал по-английски. Лейтенант потряс руку гостя и, глядя то на него, то на поручика, сказал несколько фраз, жестом пригласил сесть.

Посреди комнаты стояли в ряд четыре походных кровати, в углу громоздились какие-то ящики, дорожные мешки, кожаные чемоданы. На сундуке ле-

жали: ручной пулемет незнакомой Григорию системы, чехол от бинокля, патронные динки, карабин с темной ложей и новеньким, непотертым, тускло-сизым стволом.

Лейтенант что-то говорил приятным, глухим баском, дружелюбно поглядывая на Григория. Григорий не понимал чужой, странно звучащей для его уха речи, — но, догадываясь, что говорят о нем, испытывал состояние некоторой неловкости. Поручик рылся в одном из чемоданов, улыбаясь, слушал, потом сказал:

— Мистер Кэмпбелл говорит, что очень уважает казаков, что, по его мнению, они отличные кавалеристы и воины. Вы, вероятно, хотите есть? Вы пьете? Он говорит, что опасность сближается... Э, чорт, всякую ерунду говорит! — Поручик извлек из чемодана несколько консервных банок, две бутылки коньяку и снова нагнулся над чемоданом, продолжая переводить: — По его словам, его очень любезно принимали казачьи офицеры в Усть-Медведицкой. Они выпили там огромную бочку донского вина, все были пьяны в лоск и првесело провели время с какими-то гимназистками. Ну, уж это как водится! Он считает для себя приятной обязанностью отплатить за оказанное ему гостеприимство не меньшим гостеприимством. И вы должны будете это перенести. Мне вас жаль... Вы пьете?

— Спасибо. Пью, — сказал Григорий, украдкой рассматривая свои грязные от поведьев и дорожной пыли руки.

Поручик поставил на стол банки, — ловко вскрывая их ножом, со вздохом сказал:

— Знаете, сотник, он меня замучил, этот английский боров! Пьет с утра и до поздней ночи. Хлещет, ну бесподобно! Я сам, знаете ли, не прочь выпить, но в таких гомерических размерах не могу. А этот, — поручик, улыбаясь, глянул на лейтенанта, неожиданно для Григория матерно выругался, — льет и натошак, и всячески!

Лейтенант улыбался, кивал головой, ломаным русским языком говорил:

— Та, та!.. Хор'ошо... Нато вып'ит фаш здор'ов!

Григорий засмеялся, встряхнул волосами. Эти парни ему положительно нравились, а бессмысленно улыбающийся и уморительно говоривший по-русски лейтенант был прямо великолепен.

Вытирая стаканы, поручик говорил:

— Две недели я с ним валандаюсь, это каково? Он работает в качестве инструктора по вождению танков, приданных к нашему второму корпусу, а меня пристегнули к нему переводчиком. Я свободно говорю по-английски, это меня и погубило... У нас тоже пьют, но не так. А это — чорт знает что! Увидите, на что он способен! Ему одному в сутки надо не меньше четырех-пяти бутылок коньяку. С промежутками выпивает все, а пьяным не бывает, и даже после такой порции способен работать. Он меня уморил. Желудок у меня что-то начинает побаливать, настроение все эти дни ужасное, и весь я до того проспиртовался, что теперь даже около горящей лампы боюсь сидеть... Чорт знает что! — Говоря, он доверху наполнил коньяком два стакана, себе налил чуть-чуть.

Лейтенант, указывая глазами на стакан, смеясь, что-то начал оживленно говорить. Поручик, умоляюще положив руку на сердце, отвечал ему, сдержанно улыбаясь, и лишь изредка и на миг в черных добрых глазах его вспыхивали злые огоньки. Григорий взял стакан, чокнулся с радушными хозяевами, выпил залпом.

— О, — одобрительно сказал англичанин и, отхлебнув из своего стакана, презрительно посмотрел на поручика.

Большие, смуглые рабочие руки лейтенанта лежали на столе, на тыльной стороне ладоней в порах темнело машинное масло, пальцы шелушились от частого соприкосновения с бензином и пестрели застарелыми ссадинами, а лицо было холеное, упитанное, красное. Контраст между руками и лицом был так велик, что Григорию казалось иногда, будто лейтенант сидит в маске.



— Вы меня избавляете, — сказал поручик, наливая вровень с краями два стакана.

— А он один, что же, не пьет?

— В том-то и дело! С утра пьет один, а вечером не может. Ну, что ж, давайте выпьем.

— Крепкая штука... — Григорий отпил немного из стакана, но под удивленным взглядом лейтенанта вылил в рот остальное.

— Он говорит, что вы молодчина. Ему нравится, как вы пьете.

— Я поменялся бы с вами должностями, — улыбаясь, сказал Григорий.

— Уверен, что после двух недель вы бы сбежали!

— От такого добра?

— Уж я-то, во всяком случае, от этого добра сбегу.

— На фронте хуже.

— Здесь — тоже фронт. Там от пули или осколка можно окачуриться, и то не наверняка, а здесь белая горячка мне обеспечена. Попробуйте вот эти консервированные фрукты. Ветчины не хотите?

— Спасибо, я ем.

— Англичане—мастера на эти штуки. Они свою армию не так кормят, как мы.

— А мы разве кормим? У нас армия — на подножном корму.

— К сожалению, это верно. Однако при таком методе обслуживания бойцов далеко не уедешь, особенно если разрешить этим бойцам безнаказанно грабить население...

Григорий внимательно посмотрел на поручика, спросил:

— А вы далеко собираетесь ехать?

— Нам же по пути, о чем вы спрашиваете? — Поручик не заметил, как лейтенант завладел бутылкой и налил ему полный стакан.

— Теперь уж придется вам выпить до доньшка, — улыбнулся Григорий.

— Начинается! — глянув на стакан, простонал поручик. Щеки его зацвели сплошным тонким румянцем.

Все трое молча чокнулись, выпили.

— Дорога-то у нас одна, да едут все по-разному... — снова заговорил Григорий, морщась и тщетно стараясь пой-

мать вилкой скользивший по тарелке абрикос. — Один ближе слезет, другой едет дальше, вроде как на поезде...

— Вы разве не до конечной станции собираетесь ехать?

Григорий чувствовал, что пьянеет, но хмель еще не осилил его; смеясь, он ответил:

— До конца у меня капитала на билет нехватит. А вы?

— Ну, у меня другое положение: если даже высадят, то пешком по шпалам пойду до конца!

— Тогда счастливого пути вам! Давайте выпьем!

— Придется. Лиха беда начало...

Лейтенант чокался с Григорием и поручиком, пил молча, почти не закусывал. Лицо его стало кирпично-красным, глаза посветлели, в движениях появилась рассчитанная медлительность. Еще не допили второй бутылки, а он уж тяжело поднялся, уверенно прошел к чемоданам, достал и принес три бутылки коньяку. Ставя их на стол, улыбнулся краешками губ, что-то пробасил:

— Мистер Кэмпбелл говорит, что надо продлить удовольствие. Чорт бы его побрал, этого мистера! Вы как?

— Что ж, можно продлить, — согласился Григорий.

— Да, но каков размах! В этом английском теле — душа русского купца. Я, кажется, уже готов...

— По вас не видно, — слукавил Григорий.

— Кой чорт! Я слаб сейчас, как девица... Но еще могу соответствовать, да, могу соответствовать и даже вполне!

Поручик после выпитого стакана заметно осовел: черные глаза его замаслились и начали слегка косить, лицевые мускулы ослабли, губы почти перестали повиноваться, и под матовыми скулами ритмически задергались живчики. Выпитый коньяк подействовал на него оглушающе. У поручика было такое выражение, как у быка, которого перед зарезом ахнули по лбу десятифунтовым молотом.

— Выпиши в полной форме. Впились, и он вам нипочем, — подтвердил Гри-

горий. Он тоже заметно охмелел, но чувствовал, что может выпить еще много.

— Серьезно? — Поручик повеселел. — Нет-нет, я несколько раскис вначале, а сейчас — пожалуйста, сколько угодно! Именно: сколько угодно! Вы мне нравитесь, сотник. В вас чувствуется, я бы сказал, сила и искренность. Это мне нравится. Давайте выпьем за родину этого дурака и пьяницы. Он, правда, скотоподобен, но родина его хороша. «Правь, Британия, морями!». Пьем? Только не по всей! За вашу гордую родину, мистер Кэмпбелл! — Поручик выпил, отчаянно зажмурившись, закусил ветчиной, сказал: — Я говорю об Англии с такой же завистью, с какой говорит уличный мальчишка, имеющий мать потаскуху с проломленным носом, о красивой барыне — матери своего случайного друга-барчука. Какая это страна, сотник! Вы не можете представить, а я жил там... Ну, выпьем!

— Какая бы ни была мать, а она родней чужой.

— Не будем спорить, выпьем!

— Выпьем. А вам не совестно так про свою родину говорить?

— Эту родину... Из этой родины надо гниль вытравлять железом и огнем, а мы бессильны. Оказалось так, что у нас вообще нет родины. Ну, и черт с ней! Кэмпбелл не верит, что мы справимся с красными.

— Не верит?

— Да, не верит. Он плохого мнения о нашей армии и с похвалой отзывается о красных.

— Он участвовал в боях?

— Еще бы! Его едва не сцапали красные. Проклятый коньяк!

— Крепок! Он такой же, как спирт?

— Немного слабее. Кэмпбелла выручила из беды кавалерия, а то бы его взяли. Это — под хутором Жуковым. Красные тогда отбили у нас один танк... Вид у вас грустный. В чем дело?

— У меня жена недавно померла.

— Это ужасно! Остались дети?

— Да.

— За здоровье ваших детей! У меня их нет, а может быть, и есть, но если и есть, то они где-нибудь, наверное, бегают продавцами газет... У Кэмпбелла в

Англии — невеста. Он ей аккуратно в неделю два раза пишет. И пишет, наверно, всякую ерунду. Я его почти ненавижу, что?

— Я ничего не говорю. А почему он красных уважает?

— Кто сказал — «уважает»?

— Вы сказали.

— Не может быть! Он не уважает их, не может уважать, вы ошибаетесь! А впрочем, я спрошу у него.

Кэмпбелл внимательно выслушал бледного и пьяного поручика, что-то долго говорил. Не дождавшись, Григорий спросил:

— Чего он лопочет?

— Он видел, как они в пешем строю, обутые в лапти, шли в атаку на танки. Этого достаточно? Он говорит, что народ нельзя победить. Дурак! Вы ему не верьте.

— Как не верить?

— Вообще.

— Ну, как?

— Он пьян и болтает ерунду. Что значит — нельзя победить народ? Часть его можно уничтожить, остальным привести в исполнение... Как я сказал? Нет, не в исполнение, а в повиновение. Это мы кончаем какую? — Поручик уронил голову на руки, опрокинул локтем банку с консервами и минут десять сидел, навалившись на стол грудью, часто дыша.

За окнами стояла темная ночь. В ставни барабанил частый дождь. Где-то далеко погромыхивало, и Григорий не мог понять — гром это или орудийный гул. Кэмпбелл, окутанный синим облаком сигарного дыма, цедил коньяк. Григорий растолкал поручика, — нетвердо стоя на ногах, сказал:

— Слушай, спроси у него: почему это красные нас должны побить?

— К черту! — буркнул поручик.

— Нет, ты спроси.

— К черту! Пошел к черту!

— Спрашивай, тебе говорят!

Поручик с минуту ошалело смотрел на Григория, потом, заикаясь, что-то сказал внимательно выслушавшему Кэмпбеллу и снова уронил голову на сложенные ковшом ладони. Кэмпбелл с прене-

брежительно улыбкой посмотрел на поручика, тронул Григория за рукав, молча начал объяснять: подвинул на середину стола абрикосовую косточку, рядом с ней, как бы сопоставляя, ребром поставил свою большую ладонь и, щелкнув языком, прикрыл ладонью косточку.

— Тоже выдумал! Это я и без тебя понимаю... — раздумчиво пробормотал Григорий. Качнувшись, он обнял гостеприимного лейтенанта, широким движением показал на стол, поклонился. — Спасибо за угощение! Прощай. И знаешь, что я тебе скажу? Езжай-ка ты поскорей домой, пока тебе тут голову не свернули. Это я тебе — от чистого сердца. Понятно? В наши дела незачем вам мешаться. Понял? Езжай, пожалуйста, а то тебе тут накостыляют!

Лейтенант встал, поклонился, оживленно заговорил, время от времени беспомощно поглядывая на уснувшего поручика, дружелюбно похлопывая Григория по спине.

Григорий с трудом нашел дверную щеколду, покачиваясь, вышел на крыльцо. Мелкий, косой дождь хлестнул его по лицу. Вспышка молнии озарила широкий двор, мокрое прясло, глянцево блестящую листву деревьев в саду. Сходя с крыльца, Григорий поскользнулся, упал и, когда стал подниматься, услышал голоса:

— Офицерики-то все пьют? — спрашивал кто-то, чиркая в сенях спичкой.

Глухой, простуженный голос со сдержанной угрозой отвечал:

— Они допьются... Они до своего допьются!

*(Продолжение следует)*

---

этического искусства. Сегодня слово поэта неотъемлемо связано с понятием война, оружием которому в боях за коммунизм служит литература. Основное условие его успеха — беззаветная преданность делу трудящихся и молодость, молодость... И если только слово это означает прежде всего радостное сознание, как много еще жить впереди, как много делать, одолевая и не испытывать усталости, — то какой пламенной молодости было исполнено сердце это-

го скромного и большого человека!

Он умер шестидесяти восьми лет. Смерть оборвала его песню на полуслове. Пусть ее продолжают достойные наследники Сулеймана. Пусть она сопровождает нас в наших будущих походах. Пусть ее повторяют все, неся в своем сердце Сталинскую Конституцию, — лучший из гимнов, которые на протяжении веков, как знамя, поднимало трудящееся человечество.



Редколлегия: Ф. В. Гладков.  
Л. М. Леонов.  
А. Г. Малышкин.  
В. П. Ставский.

Ответственный редактор В. П. Ставский

Издательство: «Известия ЦИК СССР и ВЦИК»

Адрес редакции: Москва, 6, площадь Пушкина, дом 5.